

Марш смерти



Аксель Панцер

Аксель Панцер

Марш смерти

<https://litres.ru/74545328>

SelfPub; 2026

Аннотация

Зима 1945 года. Двенадцатилетняя Аня оказывается среди узников, которых гонят по дорогам Германии в «марше смерти». Рядом — младшие дети, за которых некому больше отвечать. Голод, холод, страх и дорога, где нельзя останавливаться. Побег во время налёта приносит свободу, но пережитое не отпускает: даже услышав русскую речь, дети боятся выйти из укрытия. «Марш смерти» — пронзительная история о выживании, памяти и трудном возвращении к жизни.

Аксель Панцер

Марш смерти

АКСЕЛЬ ПАНЦЕР
МАРШ СМЕРТИ

Повесть

2026

Глава 1. Колонна

Когда нас вывели за ворота, ещё не рассвело. Я помню это лучше многих вещей, случившихся потом. Не лица охранников, не номера на бараках, даже не сам двор, по которому мы столько раз ходили на построение. Я помню небо. Оно было низкое, серое, зимнее, хотя снег уже начал темнеть и оседать возле стен. Казалось, что утро не хочет наступать. Нас подняли раньше обычного. Сначала слышались шаги по проходу, потом ударили в дверь.

Холод в бараке был особенный — не уличный, свежий, а застоявшийся, пропитанный сыростью досок, дыханием множества людей и запахом мокрой одежды. В предрассветной темноте невозможно было понять, где заканчивается ночь и начинается утро. От щелей в стенах тянуло ледяным воздухом, на верхних нарах кто-то тихо стонал во сне, а в проходе шуршали босые ноги. Даже до первого приказа в помещении уже жило ожидание беды: оно передавалось без слов, по тому, как люди торопливо нащупывали обувь и не

задавали лишних вопросов.

— Aufstehen! (*Вставайте!*) Schnell! (*Быстро!*)

Мы давно научились просыпаться от первого звука немецкой речи. Не потому, что понимали каждое слово. Просто голос, которым отдавали приказ, понимало тело. Люди зашевелились на нарах. Кто-то кашлял. Кто-то шарил рукой по полу, разыскивая обувь. Женщина возле стены пыталась разбудить старуху и сначала говорила ей тихо:

— Вставайте. Слышите? Вставать надо.

Потом толкнула сильнее. Старуха открыла глаза, но долго не могла понять, где находится. Мне было двенадцать лет, и тогда мне казалось, что я уже почти взрослая. Теперь я знаю: в двенадцать лет человек ещё совсем ребёнок. Но там возраст измеряли иначе. Если ты мог сам завязать себе ботинки — ты был большим. Если мог донести кружку воды, не расплескав её, — на тебя уже можно было положиться. Если мог поделиться хлебом — становился почти взрослым. А если рядом оказывался кто-нибудь младше тебя, ты сразу становился старшим, хотел этого или нет. У меня была куртка, слишком большая в плечах и короткая в рукавах. Я получила её осенью после того, как прежняя хозяйка куртки исчезла из нашего барака. Никто не спросил, куда она делась. Такие вопросы здесь старались не задавать. Под курткой было платье, когда-то синее. Я помнила это потому, что мама любила синий цвет. Самого цвета уже почти не осталось. На ногах были деревянные башмаки и две пары тряпок вместо носков.

В одном башмаке треснула подошва, поэтому я обмотала его верёвкой.

Я торопливо затянула узел и посмотрела на соседние нары. Маленькая девочка сидела там, прижимая к груди какую-то тряпичную куклу. Я видела её раньше, но имени не знала. Ей было лет пять, может быть, шесть. Возраст детей тогда тоже трудно было определить: все были худые, маленькие, с одинаково большими глазами. Рядом с ней лежала женщина.

— Мама, — шептала девочка. — Мама, вставай.

Женщина не отвечала. Девочка потянула её за рукав.

— Мама.

Я отвернулась. Я уже знала, что означает такая неподвижность. У двери снова закричали:

— Schnell! (*Быстро!*) Alles raus! (*Все навыход!*)

Люди двинулись к выходу. Девочка осталась сидеть. Я сделала несколько шагов вместе со всеми, потом остановилась. Передо мной шла тётя Зина, женщина из Смоленска. Она оглянулась.

— Аня, чего стала?

Я показала глазами назад. Тётя Зина посмотрела на девочку. На секунду её лицо изменилось. Потом она тихо сказала:

— Возьми её.

— А мама?

Тётя Зина ничего не ответила. Она только посмотрела на меня так, что спрашивать второй раз я не стала. Я вернулась.

— Как тебя зовут?

Девочка подняла голову.

— Лида.

— Вставай, Лида.

— А мама?

Самое трудное на войне — не голод. Не холод. Не страх. Самое трудное — отвечать ребёнку, когда ты знаешь правду, а сказать её не можешь. Мне было двенадцать лет, и я ещё сама хотела, чтобы кто-нибудь отвечал мне на такие вопросы. Я взяла Лиду за руку.

— Мама потом придёт.

Наверное, это была ложь. А может быть, надежда. В то время я плохо различала одно от другого. Мы вышли из барака. Во дворе уже стояли люди. Много людей. Мужчины, женщины, старики, дети. Некоторые держали узлы. У кого-то было одеяло, скрученное и перевязанное верёвкой. Кто-то нёс жестяную миску. Одна женщина прижимала к груди кастрюлю без крышки, словно это была самая дорогая вещь на свете. Никто не понимал, что происходит. Обычно нас строили отдельно. Теперь во дворе были почти все.

— Куда нас?

— Не знаю.

— Говорят, эвакуация.

— Какая эвакуация?

— Русские близко.

— Тише ты.

Слова передавались от одного человека к другому, менялись, обрастали догадками. Кто-то говорил, что нас переводят в другой лагерь. Кто-то — что повезут поездом. Кто-то утверждал, что фронт уже совсем рядом. Старик возле нас вдруг прошептал:

— Значит, конец.

Я не поняла, что он имел в виду. Конец лагеря? Конец войны? Или какой-то другой конец? Лида крепко держала меня за руку. Её пальцы были ледяными.

— Аня.

Я удивилась.

— Откуда ты знаешь моё имя?

— Та женщина сказала.

Наверное, она слышала тётю Зину.

— Ты мою маму знаешь?

Я покачала головой. Лида задумалась. Потом спросила:

— А мы далеко пойдём?

— Не знаю.

Это был самый честный ответ, который я могла ей дать. Перед воротами стояли охранники. Некоторые были в шинелях, другие в коротких куртках. У одного на плече висел автомат. Он нервно ходил вдоль строя, время от времени покрикивая, хотя никто особенно не шумел. Люди стояли молча. Молчание большого количества людей отличается от обычной тишины. Оно тяжёлое. Слышно дыхание, кашель, переступание ног, шорох одежды. Где-то плакал ребёнок.

— Мама, я есть хочу.

Никто ему не отвечал. Я тоже хотела есть. Вчера вечером нам дали жидкий суп, в котором плавало несколько кусочков брюквы. Хлеба почти не было. Но в кармане моей куртки лежала маленькая корка. Я берегла её с вечера. Мне хотелось достать её, откусить совсем немного, только размочить во рту сухость. Но рядом стояла Лида. Я сунула руку в карман и нащупала хлеб. Пальцы сжали корку. Потом я отпустила её. «Потом», — сказала я себе. Слово «потом» тогда помогало жить. Потом поем. Потом отдохну. Потом согреюсь. Потом вернусь домой. Потом найду маму. Потом всё будет как раньше. Никто из нас не знал, сколько этих «потом» никогда не случится. Ворота открылись. Большие створки медленно разошлись в стороны. За ними была дорога. Обыкновенная дорога. Я почему-то очень удивилась. Мне казалось, что за воротами должно быть что-то другое. Может быть, свобода. Может быть, город. Может быть, поезд. А там лежала грязная дорога, по краям которой ещё белел снег.

— Los! (*Пошли!*)

Передние ряды двинулись. Тётя Зина перекрестилась. Я заметила это.

— Вы что? — тихо спросила я.

— Ничего.

— Вы перекрестились.

Она посмотрела на меня.

— И ты перекрестись.

— Зачем?

Тётя Зина долго молчала.

— На дорогу.

Я перекрестилась. Не потому, что была особенно верующей. Просто в тот момент хотелось сделать хоть что-нибудь, что делали раньше дома. Мы пошли. Сначала колонна двигалась медленно. Люди возле ворот сбивались, охранники кричали, кто-то спотыкался. Когда подошла наша очередь, Лида остановилась.

— Иди, — сказала я.

Она смотрела на ворота.

— Я маму подожду.

Я почувствовала, как внутри всё сжалось.

— Лида.

— Она проснётся и нас не найдёт.

Сзади напирали люди.

— Девочки, идите! — сказала какая-то женщина.

Я потянула Лиду. Она упёрлась.

— Нет.

Тогда я наклонилась к ней.

— Слушай меня. Сейчас мы пойдём вместе. А мама нас догонит.

— Правда?

Я посмотрела ей в глаза. И сказала:

— Правда.

Второй раз за это утро. Позже я много раз вспоминала эти

слова. Мне казалось, что они должны были лежать на моей совести тяжёлым камнем. Но с годами я перестала считать их ложью. Иногда человеку необходимо сказать ребёнку, что мама догонит. Хотя бы для того, чтобы ребёнок сделал следующий шаг. Лида шагнула за ворота. Я пошла рядом. За нашей спиной остались бараки. Я оглянулась. Тётя Зина сразу толкнула меня в плечо.

— Не надо.

— Почему?

— Не оглядывайся.

Я всё равно посмотрела ещё раз. Двор, вышки, проволока, крыши бараков. Место, которое я ненавидела так сильно, что мечтала никогда больше его не увидеть, вдруг стало единственным знакомым местом в мире. За воротами начиналось неизвестное. Колонна вытянулась вдоль дороги. Я не могла увидеть её начала. Не видела и конца. Только людей. Спины. Шинели охраны. Узлы. Платки. Согнутые головы. Деревянные башмаки стучали по мёрзлой земле. Некоторые шли босиком, обмотав ноги тряпками. Поначалу никто не разговаривал. Все берегли силы. Через некоторое время маленький мальчик впереди спросил:

— Мам, далеко?

Его мать сказала:

— Нет.

Мы прошли ещё, наверное, километр. Мальчик снова спросил:

— Уже скоро?

— Скоро.

Я посмотрела на тётю Зину. Она заметила мой взгляд.

— Не смотри.

— Она же не знает.

— Конечно, не знает.

— Зачем тогда говорит?

Тётя Зина тяжело вздохнула.

— Потому что он ребёнок.

Я хотела сказать, что я тоже ребёнок. Но почему-то промолчала. Дорога шла между полями. Снег здесь лежал неровными серыми полосами. Из-под него торчала прошлогодняя трава. Вдали виднелись голые деревья и крыши какой-то деревни. Я смотрела туда и думала, что за этими окнами живут люди. У них, наверное, есть печки. Столы. Кровати. Чашки. Может быть, хлеб. Мне было странно думать о том, что где-то всё ещё существуют дома. После лагеря казалось, что весь мир состоит из бараков, проволоки и людей, которым говорят, когда вставать, когда идти и когда останавливаться. Через час Лида начала отставать.

— Ноги болят, — сказала она.

— У всех болят.

— Я больше не могу.

Я вспомнила эти слова. В лагере их нельзя было говорить. Не потому, что запрещали. Просто на них никто не знал ответа.

— Можешь, — сказала я.

— Не могу.

— Тогда держись за меня.

Она обхватила мою руку обеими руками. Так идти было неудобно. Но я ничего не сказала. Впереди кто-то упал. Колонна дёрнулась. Люди остановились на несколько секунд. Охранник закричал. Я не видела, что случилось. Потом люди снова пошли. На дороге осталось что-то тёмное. Я отвернулась.

— Что там? — спросила Лида.

— Ничего.

Третья ложь. К полудню мне начало казаться, что мы идём уже несколько дней. Время на дороге стало другим. Не было часов. Не было завтрака, обеда или ужина. Были только шаги. Шаг. Ещё шаг. Ещё. Когда идти становилось совсем трудно, я выбирала какой-нибудь камень впереди и говорила себе: «Только до него». Доходила. Потом выбирала дерево. «Теперь до дерева». Потом — изгородь. Потом — поворот. Так дорога становилась меньше. Не вся сразу. По несколько десятков шагов. Наверное, именно тогда я впервые научилась жить маленькими расстояниями. Не думать, что будет вечером. Не думать, что будет завтра. Дойти до дерева. Потом посмотрим. Лида вдруг сказала:

— Аня.

— Что?

— У тебя мама есть?

Я долго не отвечала.

— Есть.

Я не знала, где она. Не знала, жива ли. Но сказать «была» я не могла. Пока я говорила «есть», мама существовала где-то в мире.

— А папа?

— Есть.

— И у меня есть.

— Конечно.

— Они нас найдут?

Я посмотрела на дорогу.

— Найдут.

Лида кивнула. Ей этого было достаточно. Через некоторое время она спросила:

— А если мы далеко уйдём?

Я хотела ответить. Но не смогла. Потому что в тот момент сама впервые поняла: нас действительно куда-то уводят. Не переводят в соседний барак. Не ведут на работу. Не отправляют на станцию. Нас гнали по дороге. И никто не говорил куда. Впереди медленно двигалась бесконечная колонна. Сзади шагали ещё сотни людей. А вокруг лежала чужая земля, на которой уже чувствовалась весна. Где-то очень далеко грохнуло. Люди подняли головы. Через несколько секунд грохот повторился.

— Фронт, — сказал кто-то.

По колонне словно прошёл ток. Некоторые обернулись.

Другие начали шептаться. Охранники закричали:

— Weiter! (*Vnepëd!*) Weiter! (*Vnepëd!*)

И мы пошли быстрее. Лида почти побежала рядом со мной.

— Что это?

— Не знаю.

Но я знала. Где-то там стреляли. Где-то там шла война. Она приближалась. И почему-то именно тогда я впервые испугалась не того, что война никогда не закончится. Я испугалась, что она закончится слишком поздно. Лида опять взяла меня за руку. Её маленькая ладонь помещалась у меня в пальцах целиком. Я сжала её сильнее. Тогда я ещё не знала, сколько дней мы будем идти. Не знала, сколько людей исчезнет из нашей колонны. Не знала, что однажды мы побегим с этой дороги под гул самолётов. Не знала про ферму. Про сарай. Про несколько суток тишины. И уж точно не могла представить, что однажды услышу за дверью русские слова — те самые слова, которых ждала столько времени, — и вместо того, чтобы выбежать навстречу, забьюсь в самый тёмный угол и зажму рукой рот маленькой девочке, чтобы она не ответила. В то утро я знала только одно. Нужно было идти. И я шла. Потому что за мою руку держалась Лида.

Глава 2. Не оглядываться

К вечеру я перестала чувствовать ноги. Сначала болели ступни. Потом пятки. Потом колени. А потом будто ничего не осталось ниже пояса — только тяжесть, которую нуж-

но было переставлять с места на место. Шаг. Ещё шаг. Ещё один. Я всё время думала, что вот сейчас не смогу сделать следующий. Но делала. Именно так я впервые поняла странную вещь: человек может идти гораздо дольше, чем ему кажется. Не потому, что у него остаются силы. Иногда сил уже нет. Просто рядом идут другие. И если все идут, ты тоже идёшь. Лида держалась за мой рукав. К середине дня она почти перестала разговаривать. Это меня пугало. Когда маленькие дети жалуются, плачут или задают бесконечные вопросы, взрослые обычно раздражаются. Там всё было наоборот. Пока ребёнок говорил — значит, у него оставались силы. Хуже становилось, когда он замолкал.

К вечеру мир сузился до нескольких метров дороги перед глазами. Цвета исчезли: грязь, серый снег, бурые поля и такие же серые человеческие спины сливались в одну медленно движущуюся массу. Ветер тянул вдоль колонны запах сырой земли и дыма от далёких деревень. Иногда мне казалось, что дорога движется под нами сама, а мы только стараемся не упасть с неё. Страшнее всего было не знать, сколько ещё идти: час, ночь, неделю. Незнательность утомляла почти так же, как боль в ногах.

— Лида.

Она подняла голову.

— Что?

— Ничего.

— Тогда зачем позвала?

— Просто так.

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Просто так не зовут.

Я даже улыбнулась. Наверное, впервые за весь день.

— Хорошо. Хотела спросить, как ноги.

— Болят.

— Значит, всё нормально.

— Почему?

— Потому что мои тоже болят.

Лида подумала.

— А если перестанут?

Я не знала, что ответить. Тётя Зина, шедшая рядом, услышала.

— Тогда скажешь сразу.

— Почему?

— Потому.

— А если совсем перестанут?

— Лида, — резко сказала я, — не говори глупости.

Она замолчала. Мне сразу стало стыдно. Я знала, что она не виновата. Просто я сама испугалась её вопроса. Через несколько минут я сказала:

— Ты молодец.

— За что?

— Идёшь хорошо.

— Я устала.

— Всё равно молодец.

Она опять некоторое время молчала, а потом спросила:

— А ты?

— Что я?

— Ты тоже молодец?

Я не успела ответить. Тётя Зина сказала:

— Она больше всех молодец.

Я посмотрела на неё.

— Не надо.

— Что не надо?

— Так говорить.

— Почему?

— Потому что я ничего такого не делаю.

Тётя Зина усмехнулась, но как-то устало.

— Вот когда вырастешь, поймёшь: иногда самое трудное

— именно ничего особенного не делать. Просто идти. Просто не бросать того, кто рядом.

Тогда мне показалось, что она говорит какие-то взрослые непонятные слова. Потом я вспоминала их всю жизнь. К полудню дорога стала мягкой. Снег таял, грязь липла к деревянным башмакам. При каждом шаге казалось, что земля не хочет отпускать ногу. Люди начали чаще спотыкаться. Особенно старики. Особенно те, у кого вместо обуви были тряпки. Сначала, когда кто-нибудь падал, соседи помогали подняться. Потом стали помогать реже. Не потому, что люди сделались жестокими. У них просто не оставалось сил. Чтобы поднять другого, нужно остановиться. Чтобы остановить-

ся, нужно выйти из ритма. А выйти из ритма становилось страшно. Впереди упал мужчина. Высокий, худой, в полосатой куртке. Он опустился сначала на колени, будто собирался завязать обувь. Потом лёг на бок. Женщина, шедшая рядом, схватила его под руку.

— Вставай.

Он не ответил.

— Вставай!

Колонна потекла вокруг них. Кто-то попытался помочь. Охранник подбежал и закричал. Я не поняла слов, но смысл был понятен без перевода. Женщина ещё раз дёрнула мужчину.

— Вставай, слышишь?

Он поднял голову. Я увидела его лицо. Оно было серым. Не бледным. Именно серым. Он посмотрел на женщину, потом куда-то за её плечо.

— Не могу.

Это были обычные слова. Самые простые. Но я запомнила их. Охранник снова закричал. Женщина плакала.

— Ещё чуть-чуть.

Мужчина покачал головой.

— Иди.

— Нет.

— Иди.

Люди продолжали проходить мимо. Кто-то смотрел. Большинство уже не смотрело. Тётя Зина положила мне ладонь

на затылок и повернула голову вперёд.

— Не оглядывайся.

— Но он же там.

— Я знаю.

— Его надо поднять.

— Иди.

— Но...

— Аня.

Она сказала моё имя таким голосом, что я замолчала. Мы прошли ещё несколько шагов. Я всё-таки обернулась. Женщина уже шла. Одна. Мужчина остался на дороге. Возле него стоял охранник. Больше я ничего не увидела, потому что тётя Зина толкнула меня в плечо.

— Я сказала — не оглядывайся.

— Почему?

Она долго не отвечала.

— Потому что дорога назад тебя не пустит.

Я не поняла.

— Какая дорога?

— Эта.

— Но он живой.

— Был живой.

— Что значит «был»?

Тётя Зина посмотрела на меня. И ничего не сказала. Через несколько минут сзади послышался хлопок. Один. Короткий. Кто-то в колонне вздрогнул. Но никто не остановил-

ся. Лида прижалась ко мне.

— Что это?

Я ответила:

— Не знаю.

И сразу вспомнила, сколько раз за последние месяцы говорила эти слова. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Взрослые когда-то казались мне людьми, которые знают ответы. Теперь вокруг были одни взрослые. И никто ничего не знал. Через какое-то время дорога повернула к лесу. Стало холоднее. Солнце мы почти не видели, но небо немного посветлело. Между голыми ветками лежал тусклый белый свет. Птиц не было. Или я их просто не слышала. В голове стучали шаги. Кто-то впереди начал считать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сначала я думала, что мне показалось. Потом поняла: считает мальчик. Ему было лет восемь или девять. Он шёл рядом с женщиной и повторял числа почти беззвучно. Раз. Два. Три. Четыре. Доходил до ста. Потом начинал заново. Я некоторое время слушала.

— Зачем ты считаешь? — спросила я.

Он посмотрел на меня. У него были очень светлые волосы, почти белые, и большой синяк возле виска.

— Шаги.

— Это я понимаю. Зачем?

Он пожал плечами.

— Так быстрее.

— Что быстрее?

— Идти.

— Как тебя зовут?

— Миша.

— Сколько тебе?

— Семь.

Я подумала, что он выглядит старше.

— Откуда ты?

Он назвал город, но я не расслышала.

— Где мама?

Миша посмотрел вперёд. Женщина рядом с ним не была его матерью. Я поняла это сразу.

— Не знаю.

Он сказал эти слова спокойно. Как будто речь шла о потерянной ложке. Я больше не спрашивала. Миша снова начал считать.

— Один. Два. Три...

Лида прислушалась. Через некоторое время стала считать вместе с ним.

— Четыре... пять... шесть...

Она путалась. После девяти говорила одиннадцать. Миша раздражался.

— После девяти десять.

— Я знаю.

— Не знаешь.

— Знаю.

— Тогда почему неправильно говоришь?

— Потому что устала.

— Все устали.

— Сам ты устал.

— Я не устал.

Через пару минут он споткнулся. Лида посмотрела на него с удовлетворением.

— Видишь.

— Что?

— Устал.

Миша ничего не ответил. Но потом пошёл ближе к нам. Так нас стало трое. Я, Лида и Миша. Не семья. Не друзья. Просто трое детей, которые шли рядом. Тогда этого было достаточно. Через несколько часов нам разрешили остановиться. Не отдохнуть. Именно остановиться. Это были разные вещи. Колонна свернула с дороги на поле. Люди опустились прямо на мокрую землю. Некоторые падали. Я тоже хотела сесть сразу, но тётя Зина схватила меня за локоть.

— Не садись на снег.

— Почему?

— Потом не встанешь.

— Я только чуть-чуть.

— Не садись.

— Ноги болят.

— У всех болят.

Мне стало обидно.

— Вы всё время это говорите.

— Что?

— Что у всех болят.

— Потому что так и есть.

— А мне что от этого?

Тётя Зина посмотрела на меня и вдруг улыбнулась.

— Ничего.

Я не ожидала такого ответа. Она расстелила на земле кусок мешковины.

— Теперь садись.

Мы сели. Лида сразу легла мне на колени.

— Не спи, — сказала я.

— Почему?

— Не знаю.

Тётя Зина сказала:

— Пусть десять минут.

— А потом?

— Потом разбудим.

Я сунула руку в карман. Там всё ещё лежала корка хлеба. Я забыла о ней. Теперь вспомнила. Достала. Она была маленькая. Наверное, граммов тридцать. Сухая, тёмная, с прилипшими крошками ткани от кармана. Я долго смотрела на неё. Тётя Зина заметила.

— Ешь.

Я разломилла хлеб. Получилось три части. Одна большая. Две маленькие. Я отдала по кусочку Лиде и Мише. Миша сразу сунул хлеб в рот. Лида держала в ладони.

— Ешь.

— А ты?

— У меня есть.

Она посмотрела на мою руку. У меня оставался самый большой кусок. Тогда она начала есть. Медленно. Очень медленно. Я тоже откусила. Хлеб был сухой и кислый. Мне никогда потом не попадалось ничего вкуснее. Рядом сидела женщина. Она смотрела на нас. Не на меня. На хлеб. Я заметила её взгляд. Она сразу отвернулась. У неё на руках спал ребёнок. Совсем маленький. Года три. А может, меньше. Я посмотрела на свой кусок. Потом на ребёнка. Тётя Зина будто почувствовала, о чём я думаю.

— Не надо.

— Почему?

— Тебе самой идти.

— Но у него...

— Аня.

— Он маленький.

— Я вижу.

— Тогда почему?

Она сказала тихо:

— Потому что если ты отдашь всё сегодня, завтра кто-то будет делить хлеб уже с Лидой.

Я не поняла.

— Почему?

— Потому что тебя рядом не будет.

Эти слова меня испугали. Я сразу сунула хлеб в рот. Потом мне стало стыдно. Я увидела, что женщина с ребёнком всё ещё сидит рядом. Я отломилла маленький кусочек. Со всем маленький. Протянула ей. Она посмотрела.

— Нет.

— Возьмите.

— Ешь сама.

— Ребёнку.

Она долго не брала. Потом взяла.

— Спасибо.

Это слово давно никто мне не говорил. Я почему-то отвернулась. Через несколько минут охранники начали поднимать людей. Стоны прошли по полю. Кто-то не мог разогнуть ноги. Кто-то плакал. Один старик сидел, обхватив колени.

— Вставайте, — сказала ему женщина.

Он покачал головой.

— Не могу.

Я сразу вспомнила мужчину на дороге. Те же слова. Женщина потянула его за руку.

— Давайте.

Старик попытался. Поднялся наполовину. Снова сел. Охранник крикнул. Люди вокруг задвигались быстрее. Я смотрела на старика. Тётя Зина снова сказала:

— Не оглядывайся.

На этот раз я послушалась. Мы вышли обратно на дорогу. Лида шла хуже. Миша всё ещё считал шаги. Дошёл до ше-

стидесяти трёх, сбился и начал сначала. Я слышала:

— Один. Два. Три. Четыре...

И вдруг поняла, зачем он это делает. Если считать, думаешь не о дороге. Не о том, сколько осталось. Не о человеке, который сидит позади. Не о выстреле, который можешь услышать. Ты думаешь только о следующем числе. Я тоже начала считать. Не вслух. До ста. Потом снова. Когда я дошла до тридцати двух, сзади хлопнул выстрел. Я не оглянулась. Начала считать заново. Один. Два. Три. Вечером нас привели к большой ферме. Не той, где мы потом будем прятаться. Другой. Тогда я ещё не знала, сколько немецких дворов, сараев, амбаров и конюшен останется в моей памяти. Для хозяев это были хозяйственные постройки. Для нас — места, где можно было не идти. Нас загнали в длинный сарай. На полу лежала солома. Старая, влажная, пахнущая навозом. Люди бросились занимать места возле стен. Мы с тётей Зиной нашли угол. Лида сразу легла. Миша сел рядом.

— Не ложись на проходе, — сказала я.

— Почему?

— Затопчут.

Он молча подвинулся. Я сняла деревянный башмак. Верёвка намокла и врезалась в тряпку. Когда я размотала её, увидела кровь. Немного. Просто содранная кожа. Но я испугалась. Тётя Зина заметила.

— Покажи.

— Ничего.

— Покажи.

Она осторожно сняла тряпку.

— Плохо?

— Нет.

— Я завтра смогу идти?

— Сможешь.

— Правда?

Она посмотрела на меня.

— Правда.

Я улыбнулась. И вдруг поняла, что теперь уже она лжёт мне так же, как я утром Лиде. Странно, но от этого стало легче. В сарае темнело. Люди устраивались на полу. Кто-то молился. Кто-то плакал. Кто-то спорил из-за места. Кто-то уже спал. У стены мужчина снимал ботинок с женщины. Нога распухла так сильно, что ботинок не сходил. Она кусала рукав, чтобы не кричать. Рядом старуха делила картофельную кожуру между двумя детьми. Я смотрела на всё это и думала только об одном: завтра снова идти. Мне казалось невозможным. Я не могла представить, как встану. Как надену башмак. Как сделаю первый шаг.

— Аня.

Лида лежала рядом.

— Что?

— Мы завтра домой пойдём?

Я закрыла глаза.

— Конечно.

— А далеко?

Я подумала. Потом сказала:

— Надо поспать.

— А утром?

— Утром посмотрим.

Она положила голову мне на плечо. Миша лежал с другой стороны.

— Я не сплю, — сказал он.

— Я тебя и не спрашивала.

— Я просто сказал.

Через минуту он уже спал. Я лежала между ними и слушала сарай. Кашель. Шёпот. Стон. Шорох соломы. Где-то снаружи ходил часовой. Его сапоги стучали по земле. Туда. Обратно. Туда. Обратно. Каждый раз, когда шаги приближались, моё тело напрягалось само. Потом шаги удалялись. Я расслаблялась. Через несколько минут всё повторялось. Так мы и жили. Не событиями. Звуками. Шаги приближаются — страшно. Удаляются — можно дышать. Крик — вставай. Тишина — спи. Выстрел — не оглядывайся. Я долго не могла уснуть. Перед глазами стоял мужчина на дороге. Женщина тянула его за руку. «Вставай». Он отвечал: «Не могу». Потом старик на поле. Те же слова. Я вспомнила тётю Зину: «Не оглядывайся». Мне стало страшно. Не из-за выстрелов. Я вдруг подумала, что завтра тоже могу сказать: «Не могу». Что тогда? Кто-нибудь останется со мной? Лида? Миша? Тётя Зина? Или им тоже скажут идти? Я повернулась на бок.

Лида во сне нашла мою руку и сжала два пальца. Её ладонь была маленькая и горячая. Я лежала так долго. А потом решила. Завтра я не скажу этих слов.

Какими бы тяжёлыми ни стали ноги. Как бы ни хотелось лечь прямо на дорогу. Я не скажу: «Не могу». Потому что теперь это были не просто слова. На той дороге они означали совсем другое. Я закрыла глаза. Перед тем как уснуть, услышала далёкий гул. Сначала подумала, что гром. Потом гул повторился. Сарай едва заметно дрогнул. Кто-то рядом прошептал:

— Фронт.

Другой голос ответил:

— Ближе.

Я не знала, радоваться этому или бояться. В двенадцать лет мне казалось, что если фронт приблизится достаточно близко, всё сразу закончится. Откроются двери. Исчезнет охрана. Кто-нибудь скажет: «Всё. Вы свободны». Мы пойдём домой. Я ещё не знала, что иногда между человеком и свободой остаётся всего несколько километров — и именно эти километры могут оказаться самыми длинными. Утром нас подняли затемно. Я надела башмак. Первый шаг оказался почти невыносимым. Второй — чуть легче. На третьем я уже не думала о ноге. Лида взяла меня за руку. Миша начал считать:

— Один. Два. Три...

Ворота сарая открылись. Перед нами снова лежала доро-

га. И я не оглянулась.

Глава 3. Лида

На третий день Лида перестала спрашивать про маму. Я заметила это не сразу. В дороге всё смешивалось: шаги, грязь, холод, лица, короткие остановки, чужие голоса, немецкие команды. Мы шли, когда приказывали идти, садились, когда разрешали, вставали, когда кричали. Иногда казалось, что если перестать думать, станет легче. Но именно поэтому я и заметила. Раньше Лида спрашивала часто. «А мама нас догонит?» «А мама знает, где мы?» «А мама тоже идёт?» Теперь молчала. Сначала я обрадовалась. Мне больше не нужно было придумывать ответы. Потом стало страшно. Я наклонилась к ней.

В деревнях особенно мучительно чувствовалась чужая обычная жизнь. За стёклами темнели занавески, у крылец лежали охапки дров, над крышами тянулся печной дым. Я смотрела на эти признаки быта почти с недоверием: кому-то утром ещё нужно было растопить печь, накормить ребёнка, убрать со стола. От этого становилось не легче, а тяжелее. Наш мир состоял из приказов и дороги, а всего в нескольких шагах за забором существовал другой — с чашками, кроватями, дверями, которые можно было закрывать изнутри.

— Лида.

Она подняла голову.

— Что?

— Ты про маму не спрашиваешь.

Девочка посмотрела на дорогу.

— А что спрашивать?

Я не знала.

— Ну... раньше спрашивала.

— Ты же сказала, что она догонит.

Она произнесла это спокойно. Как будто всё было решено.

Мне захотелось остановиться. Сесть прямо в грязь. Закрывать лицо руками. Но мы шли. Я только крепче сжала её ладонь.

— Догонит, — сказала я.

Лида кивнула. И снова посмотрела вперёд. Иногда дети верят взрослым не потому, что взрослые говорят правду. А потому, что им больше некому верить. Тогда я ещё не понимала этого. Мне просто стало тяжело дышать. Впереди Миша считал шаги.

— Семьдесят три. Семьдесят четыре. Семьдесят пять...

Он сбился.

— Сначала, — сказала Лида.

— Сам знаю.

— Ты после семидесяти пяти сказал семьдесят семь.

— Не говорил.

— Говорил.

— Не мешай.

— Я не мешаю.

Миша повернулся к ней.

— Тогда сама считай.

— Не хочу.

— Вот и молчи.

Лида показала ему язык. Миша нахмурился, но через несколько шагов тоже улыбнулся. Это была первая почти обычная детская ссора, которую я слышала за много дней. Она была такой ненужной и такой прекрасной, что мне захотелось смеяться. Я не засмеялась. Но внутри вдруг стало чуть легче. Колонна шла через деревню. Дома стояли близко к дороге. Белые стены. Тёмные крыши. Сады без листьев. Заборы. У ворот иногда появлялись люди. Женщины. Старики. Дети. Они смотрели на нас. Некоторые быстро уходили обратно. Другие стояли молча. Я старалась не смотреть им в глаза. Мне казалось, что так легче. Возле одного дома стояла девочка примерно моего возраста. На ней было пальто. Настоящее. Чистое. С пуговицами. На голове — вязаная шапка. Она держала в руках кусок хлеба. Я увидела хлеб раньше, чем её лицо. Она смотрела на нашу колонну. Потом на меня. Потом на Лиду. На секунду я подумала, что она бросит хлеб через забор. Но девочка не бросила. Просто стояла. Может быть, боялась. Может быть, мать запретила. Может быть, не понимала, кто мы. Я прошла мимо.

Через несколько шагов Лида спросила:

— Она немецкая?

— Наверное.

— У неё хлеб был.

— Видела.

— Почему не дала?

Я пожала плечами.

— Не знаю.

Лида задумалась. Потом сказала:

— Если у меня будет хлеб, я дам.

Я посмотрела на неё.

— Кому?

— Ну... кому надо.

Я чуть не спросила: «А если самой будет мало?» Но промолчала. Некоторые вопросы детям лучше не задавать. Они отвечают слишком честно. За деревней дорога поднялась на холм. Идти стало тяжелее. Лида начала цепляться за мою руку.

— Подтянись немного, — сказала я.

— Не могу.

Я вздрогнула. Слова были те самые. Я сразу остановила взгляд на её лице.

— Что значит не можешь?

— Ноги болят.

— У всех болят.

Я сказала это точно так же, как тётя Зина. И тут же поняла. Наверное, взрослые не всегда говорят эти слова из равнодушия. Иногда они просто не знают других.

— Ещё немного, — добавила я. — До того дерева.

Впереди росла одинокая берёза.

— До него?

— До него.

— А потом?

— Потом посмотрим.

Мы дошли.

— Всё, — сказала Лида. — Теперь сядем.

— Нельзя.

— Ты обещала.

— Я сказала «потом посмотрим».

— Мы посмотрели.

Я едва не рассмеялась.

— Тогда до камня.

— Какого?

— Вон того.

— Он далеко.

— Поэтому и дойдём.

— А потом сядем?

— Если разрешат.

Она вздохнула.

— Ты всё время так говоришь.

— Как?

— До дерева. До камня. До поворота.

— Помогает?

Лида подумала.

— Немного.

— Значит, правильно говорю.

Она ничего не ответила. Через минуту снова крепче взяла меня за руку. На привале мы сидели у дороги. Люди опу-

стились прямо на землю. Кто-то снял обувь. Кто-то растирал ноги. Кто-то лежал с закрытыми глазами. Охрана ходила вдоль колонны. Тётя Зина достала из кармана несколько картофельных очисток.

— Откуда?

— Нашла вчера.

— Они грязные.

— Других нет.

Она протёрла их рукавом и дала нам. Я жевала медленно. Лида смотрела на меня.

— Аня.

— Что?

— Ты где жила?

Вопрос был неожиданным. Я даже перестала жевать.

— Дома.

— Это я знаю.

— Тогда что спрашиваешь?

— Какой дом?

Я задумалась. Дом. Слово казалось почти сказочным. Я попыталась вспомнить. Не лагерь. Не барак. Не сарай. Настоящий дом.

— Небольшой.

— Деревянный?

— Да.

— С крыльцом?

— С крыльцом.

— А сад был?

— Был.

— Большой?

— Нет. Но яблоня была.

— Яблоки красные?

— Не всегда. Больше зелёные.

Лида слушала внимательно.

— А у нас были красные.

— Правда?

— Мама варила из них что-то.

— Варенье?

— Наверное.

— Ты не помнишь?

Она нахмурилась.

— Помню.

Но было видно, что не помнит. И вдруг я поняла, что Лида очень маленькая. Для неё дом — это уже не место. Это несколько картинок. Красные яблоки. Мамина юбка. Кружка. Кровать. Чем дольше длилась война, тем меньше в её памяти оставалось настоящей жизни. Мне захотелось помочь ей вспомнить.

— А комната какая была?

— Светлая.

— Окно одно или два?

Она задумалась.

— Два.

— Шторы были?

— Были.

— Какие?

Она посмотрела на меня с подозрением.

— Ты зачем спрашиваешь?

— Просто.

— Чтобы я не забыла?

Я не ожидала такого ответа.

— Да.

Она кивнула.

— Тогда спрашивай.

И я стала спрашивать. Какого цвета была чашка. Где стоял стол. Кто спал возле окна. Была ли кошка. Как звали соседку. Во что Лида играла. Некоторые ответы она давала сразу. Над другими думала долго. Иногда путалась. Иногда говорила:

— Не помню.

И тогда я не настаивала. Тётя Зина слушала нас, отвернувшись. Но однажды я увидела, что она вытирает глаза.

— Вы чего? — спросила я.

— Пыль.

Пыли не было. Мы обе это знали. Когда снова велели вставать, Лида сказала:

— Теперь я про тебя буду спрашивать.

— Зачем?

— Чтобы ты тоже не забыла.

— Я не забуду.

— Откуда знаешь?

Я хотела сказать: «Потому что я старше». Но уже знала, что возраст ничего не гарантирует.

— Хорошо, — сказала я. — Спрашивай.

И она спрашивала весь следующий час. Как звали мою учительницу. Какие у меня были ботинки. Умела ли я кататься на велосипеде. Был ли у нас самовар. Как звали мою маму. На последнем вопросе я замолчала.

— Ну?

— Мария.

— А папу?

— Николай.

— Они тебя как называли?

Я не ответила сразу. В груди что-то сжалось. Я давно не слышала домашнего имени.

— Нюра.

Лида улыбнулась.

— Нюра?

— Только дома.

— А я тебя буду так называть.

— Нет.

— Почему?

— Потому что ты не дома.

Она обиделась.

— Я же хочу.

— Не надо.

— Почему?

Я сама не понимала. Наверное, мне казалось, что если кто-то здесь назовёт меня так, то дом станет слишком близко. А значит, будет ещё больнее.

— Просто не надо.

Лида замолчала. Потом тихо сказала:

— Хорошо, Аня.

Мне сразу стало стыдно. Но попросить её снова назвать меня Нюрой я не смогла. После полудня стало холоднее. Поднялся ветер. Люди наклоняли головы. Ткань хлопала. Грязь на дороге подсохла и превратилась в жёсткие колеи. Лида начала хромать. Я заметила.

— Что с ногой?

— Ничего.

— Покажи.

— Не надо.

— Почему?

— Ты будешь ругаться.

— За что?

— Я камешек не вытащила.

Оказалось, в её башмак попал маленький острый камень. Она шла с ним, наверное, несколько часов.

— Почему не сказала?

— Мы же не могли остановиться.

Я присела возле неё прямо на ходу, насколько это было возможно, и быстро помогла вытряхнуть камень. На пятке

была кровь. Совсем немного. Но кожа содрана.

— Лида.

— Что?

— Если больно, говори.

— Ты сама говорила, что у всех болит.

Я замолчала. Вот как дети запоминают слова. Не то, что ты хотел сказать. А именно то, что сказал.

— Я неправильно сказала.

Она посмотрела удивлённо.

— Взрослые тоже неправильно говорят?

— Конечно.

— Часто?

Я подумала.

— Очень.

Лида усмехнулась.

— Тогда хорошо.

— Что хорошего?

— Я думала, только дети.

Мы снова пошли. Через некоторое время я почувствовала, что она почти висит на моей руке.

— Лида.

— Я иду.

— Ты спишь?

— Нет.

— Глаза открой.

Она открыла. На лице была такая усталость, какой я

прежде у детей не видела. В тот момент я впервые по-настоящему испугалась за неё. Не просто потому, что она маленькая. А потому, что вдруг поняла: если с ней что-то случится, я ничего не смогу сделать. Не будет врача. Не будет лекарства. Не будет кровати. Не будет мамы. Будет только дорога. И я. Я позвала тётю Зину. Она посмотрела на Лиду. Потрогала лоб.

— Горячая.

— Что делать?

— Идти.

— Она заболела.

— Вижу.

— Надо остановиться.

Тётя Зина посмотрела на меня.

— Где?

Я оглянулась. Поля. Дорога. Колонна. Охрана.

— Не знаю.

— Вот и я не знаю.

— Но так нельзя.

— Можно.

— Как?

Она долго молчала. Потом сказала:

— Здесь много чего нельзя. А всё равно приходится.

Эти слова разозлили меня.

— Значит, пусть идёт, пока не упадёт?

Тётя Зина резко схватила меня за плечо.

— Тише.

— Я не буду тише.

— Будешь.

— Почему?

— Потому что крик ей не поможет.

Я посмотрела на Лиду. Она стояла рядом и слушала нас.

Мне стало стыдно. Я наклонилась к ней.

— Иди сюда.

— Зачем?

— Полезай.

— Куда?

— На спину.

— Ты не сможешь.

— Смогу.

Она была лёгкая. Слишком лёгкая. Я присела, она обхватила меня руками за шею. Сначала я даже удивилась. Кажется, нести её будет легко. Но через сотню шагов плечи начали гореть. Через двести стало трудно дышать. Через триста я поняла, что ошиблась. Миша шёл рядом.

— Давай я.

— Ты маленький.

Он нахмурился.

— Я не маленький.

— Меньше меня.

— И что?

— Ничего.

— Тогда давай.

Мы остановились на несколько секунд и поменялись. Лида пересела к нему. Миша сделал десять шагов. Потом ещё десять. На двадцатом его начало качать.

— Давай обратно, — сказала я.

— Я могу.

— Вижу.

— Я могу!

— Конечно можешь. Просто теперь моя очередь.

Он отдал мне Лиду. Через некоторое время тётя Зина помогла. Потом другая женщина. Так Лиду несли по очереди. Человек десять. Никто не говорил, что это их дело. Никто не спрашивал, кто она. Просто тот, у кого ещё были силы, брал ребёнка. К вечеру температура немного спала. Лида снова пошла сама. Она почти не говорила. Я держала её за руку. На ночлег нас загнали в старый амбар. Люди легли на полу. Я устроила Лиду возле стены. Накрыла своей курткой.

— А ты?

— Мне не холодно.

— Врёшь.

Я усмехнулась.

— Немного.

Она подвинулась.

— Ложись сюда.

Мы легли рядом. Миша устроился с другой стороны. Некоторое время было тихо. Потом Лида прошептала:

— Аня.

— Что?

— Если мама не догонит...

Я замерла. Вот он. Вопрос, которого я боялась.

— Догонит.

— А если нет?

— Лида...

— Тогда ты меня не бросишь?

Я долго молчала. Мне было двенадцать. Я не знала, где окажусь завтра. Не знала, проживу ли ещё неделю. Не знала даже, смогу ли утром снова надеть свой деревянный башмак. Но ребёнок рядом ждал ответа. Я повернулась к ней.

— Не брошу.

— Никогда?

Я хотела сказать, что нельзя обещать «никогда». Так говорили взрослые. Но в темноте её лицо было едва видно. Она ждала. И я сказала:

— Никогда.

Лида вздохнула. Потом прижалась ко мне и через несколько минут уснула. Я лежала, глядя в темноту. Мне было страшно. Не из-за охранников. Не из-за дороги. Не из-за выстрелов. Впервые я испугалась собственного обещания. Потому что теперь у меня было то, что я могла потерять. До Лиды я шла ради себя. Теперь я должна была идти ещё и ради неё. И это оказалось тяжелее любого узла. Но именно это, наверное, и не дало мне однажды лечь на дорогу.

Глава 4. Хлеб

Утром нам дали хлеб. Не всем. И не сразу. Сначала по амбару прошёл слух, что на дворе стоит телега. Потом кто-то сказал, что привезли картошку. Другие утверждали, что это корм для лошадей. Кто-то уже успел увидеть мешки. Мы лежали на соломе и слушали. Лида спала, уткнувшись лицом мне в плечо. Миша сидел возле стены и пытался снять с рукава засохшую грязь.

Запах хлеба в то утро оказался сильнее всех остальных запахов амбара. Он пробивался сквозь сырость, навоз, мокрую солому и человеческое дыхание. Люди ещё не видели раздачи, но уже поднимали головы, и на несколько минут в измученных лицах появилось одинаковое выражение — напряжённая, почти болезненная надежда. Голод меняет зрение и слух: ты замечаешь не людей, а их руки, карманы, миски; не разговор, а слово «хлеб». Мне было страшно от того, насколько быстро всё остальное становилось неважным.

— Хлеб, — сказал он.

— Откуда знаешь?

— Пахнет.

Я приняхалась. Ничего. В амбаре пахло сырой соломой, людьми, мокрой одеждой, навозом и холодом.

— Тебе кажется.

— Не кажется.

— Ты что, хлеб по запаху узнаёшь?

Он посмотрел на меня серьёзно.

— Конечно.

Я хотела рассмеяться, но не стала. Через несколько минут дверь открылась. Снаружи было ещё темно. Охранник что-то крикнул. Люди начали подниматься.

— Что он говорит? — спросила я.

Тётя Зина прислушалась.

— По одному.

— Куда?

— Наверное, выдавать что-то будут.

Все сразу оживились. Даже те, кто ещё минуту назад едва мог пошевелиться. Голод поднимал быстрее любого приказа. Лида проснулась.

— Куда все?

— Сейчас узнаем.

— Мы пойдём?

— Конечно.

Она села и посмотрела на мою куртку.

— Ты ночью не укрывалась.

— Укрывалась.

— Нет.

— Спала и не видела.

— Видела.

Я отвернулась.

— Вставай.

Она ничего не сказала. Но когда я помогала ей надевать обувь, Лида вдруг сняла с головы тонкий платок и протянула

мне.

— Что это?

— Возьми.

— Зачем?

— Тебе холодно.

— А тебе?

— Я маленькая. Маленьким меньше холодно.

Я посмотрела на неё. Кто ей такое сказал? Наверное, сама придумала. Я вернула платок.

— Надевай.

— А ты?

— У меня волосы.

Она потрогала свои.

— У меня тоже.

— У тебя меньше.

Лида нахмурилась, но платок надела. Мы вышли. На дворе действительно стояла телега. И на ней были мешки. Люди смотрели только туда. У стены поставили деревянный ящик. Рядом двое мужчин разрезали буханки длинным ножом. Я увидела хлеб. Настоящий. Тёмный. Плотный. С толстой коркой. Я почувствовала запах. Миша был прав. Я не знала, как могла не почувствовать его раньше. В тот момент весь двор перестал существовать. Остался только хлеб. Нож проходил через буханку. Крошки падали на доску. Мне хотелось смотреть на них бесконечно. Каждая крошка казалась чем-то невероятно ценным. Людей построили. Кто-то пытался

считать, сколько дают на человека.

— Сто граммов.

— Нет, меньше.

— На двоих.

— Да что ты понимаешь?

— Я видела.

— Молчи.

Охранник закричал. Все замолчали. Очередь двигалась медленно. Тётя Зина стояла перед нами. Миша — сзади. Лида держала меня за рукав. Когда подошла наша очередь, мужчина за ящиком посмотрел на нас. Спросил что-то по-немецки. Я не поняла. Тётя Зина ответила. Он показал на Лиду. Потом на меня. Снова что-то сказал.

— Что? — спросила я.

— Детям отдельно.

— Значит, ей тоже дадут?

— Должны.

Мне выдали кусок. Небольшой. Он лёг в ладонь тяжело. Я сразу сжала пальцы. Лиде дали ещё меньше. Она уставилась на хлеб так, будто ей подарили игрушку. Миша получил свой кусок.

— Не ешь сразу, — сказала я.

Он уже поднёс хлеб ко рту.

— Почему?

— Потом останется.

— Потом отберут.

Я замолчала. Он был прав. Я не знала, что лучше. Съесть сразу и хотя бы несколько минут не чувствовать голода. Или сохранить и весь день бояться потерять. Тётя Зина сказала:

— Половину сейчас. Половину спрячьте.

— Куда?

— Куда хочешь.

— У меня карман дырявый.

Она взяла мой кусок. Разломала. Одну половину вернула. Вторую завернула в тряпицу и сунула под подкладку куртки.

— Не потеряешь.

— А если обыщут?

— Тогда потеряешь.

Мне не понравился её ответ.

— Можно было сказать, что не обыщут.

— Можно.

— Почему не сказали?

Тётя Зина посмотрела на меня.

— Потому что ты уже не маленькая.

Я хотела сказать, что вчера она говорила другое. Что вчера взрослые лгали детям, потому что детям нужны хорошие ответы. Но почему-то промолчала. Лида начала есть. Маленькими кусочками. Очень аккуратно. Она откусывала и долго держала хлеб во рту. Я смотрела на неё.

— Вкусно?

Она кивнула.

— Очень.

Мне тоже было вкусно. Но хлеб почти не утолял голод. Наоборот. После первых двух кусочков хотелось есть ещё сильнее. Живот словно проснулся и вспомнил, что он существует. Я заставила себя остановиться. Половину нужно сохранить. Мы снова вышли на дорогу. В этот день шли медленнее. Колонна растянулась. Кто-то хромал. Кого-то поддерживали под руки. Некоторых почти несли. Я всё время чувствовала хлеб под подкладкой. Это было странное ощущение. Я знала, что он там. И от этого хотелось есть ещё сильнее. Каждые несколько минут я проверяла рукой. На месте ли. Да. Шла дальше. Через час снова проверяла. Да. Мне начало казаться, что все вокруг знают про мой хлеб. Что смотрят на карман. Что угадывают, где он спрятан. Я понимала, что это глупо. Но ничего не могла с собой поделать. Голод делает человека подозрительным. Сначала к другим. Потом к самому себе. На привале Лида сказала:

— Я съела весь.

— Весь?

— Да.

— Я же говорила оставить.

— Я хотела.

— И?

Она опустила глаза.

— Потом ещё один кусочек.

— Лида.

— Я правда хотела оставить.

— А теперь?

— Теперь нет.

Мне хотелось рассердиться. Но я посмотрела на неё. Пять лет. Может быть, шесть. Как можно требовать от ребёнка не есть хлеб, когда хлеб у него в руке? Я села рядом.

— Ладно.

— Ты сердишься?

— Нет.

— Сердишься.

— Немного.

— Я тебе отдам потом.

— Что?

— Хлеб.

— Где возьмёшь?

Она пожала плечами.

— Потом.

Опять это слово. Я улыбнулась.

— Хорошо.

Миша сел напротив нас. Он свой кусок сохранил. Половина лежала у него за пазухой. Я увидела.

— Молодец.

Он ничего не ответил. Просто накрыл хлеб ладонью. Через несколько минут к нам подошёл мальчик. Я видела его раньше. Он был старше Миши. Лет десяти. Очень худой. Губы потрескались. Он смотрел не на нас. На хлеб.

— Дай кусок, — сказал он Мише.

Миша сразу спрятал руку.

— Нет.

— Маленький.

— Нет.

— Я два дня не ел.

Миша посмотрел на меня. Я ничего не сказала. Мальчик повторил:

— Дай.

— У меня самого мало.

— У тебя есть.

— Моё.

Мальчик сделал шаг ближе. Миша прижал хлеб к груди. Я встала.

— Отойди.

Он посмотрел на меня.

— Я только попросил.

— Он сказал нет.

— Я голодный.

— Все голодные.

Слова прозвучали жёстко. Я сразу услышала это. Мальчик тоже. Он посмотрел на меня так, что мне стало стыдно.

— Все, — повторил он.

Потом отвернулся и ушёл. Я села. Миша всё ещё держал хлеб.

— Он бы отобрал, — сказал он.

— Может быть.

— Я бы не отдал.

— Я вижу.

— Ты бы отдала?

Я не ответила. Лида смотрела на меня. И вдруг мне стало не по себе. Потому что я знала: они ждут правильного ответа. А правильного ответа не было. Если отдать хлеб — завтра сам можешь не встать. Если не отдать — рядом будет голодать другой. Я подумала о мальчике. О его губах. О том, как он сказал: «Все». Сунула руку под подкладку. Достала свой кусок. Разломила. Половину положила обратно. Другую сжала в ладони.

— Я сейчас вернусь.

Тётя Зина схватила меня за руку.

— Куда?

— Туда.

Она посмотрела на хлеб. Поняла.

— Не надо.

— Почему?

— Потому что таких здесь сотни.

— Я знаю.

— Всем не дашь.

— Всем не могу.

— Тогда зачем одному?

Я посмотрела на неё.

— Не знаю.

Она отпустила мою руку. Мальчика я нашла недалеко. Он

сидел возле канавы. Один. Когда увидел меня, сразу насто-
рожился. Я протянула хлеб.

— Возьми.

Он смотрел.

— Мне?

— Да.

— Почему?

Я не знала.

— Потому.

Он быстро взял. Не сказал спасибо. Сразу начал есть. Я
вернулась. Миша смотрел на меня сердито.

— Зачем?

— Не знаю.

— Теперь у тебя меньше.

— Знаю.

— Глупо.

— Может быть.

Лида сказала:

— Не глупо.

Миша повернулся к ней.

— Ты вообще свой весь съела.

— И что?

— Ничего не понимаешь.

— Понимаю.

— Нет.

— Да.

Они снова начали спорить. Я слушала и думала о том, что Миша тоже прав. И Лида права. И тётя Зина права. И мальчик. На войне часто бывало так: все правы, а хорошо всё равно никому. После привала мы снова шли. Я старалась не думать о том, сколько хлеба осталось. Но думала. Через час пожалела, что отдала. Потом мне стало стыдно за сожаление. Потом снова пожалела. Так и шла. Иногда человек может одновременно жалеть о хорошем поступке и всё равно знать, что сделал правильно. Это я поняла намного позже. Тогда мне казалось, что если ты добрый, то не должен сожалеть. Если жадный — должен. Но голод всё путал. Добрые хотели есть. Щедрые прятали хлеб. Те, кто вчера делился, сегодня могли отвернуться. И наоборот.

К вечеру погода испортилась. Пошёл мелкий холодный дождь. Сначала почти незаметный. Потом сильнее. Одежда намокла. Дорога снова превратилась в грязь. Лида начала дрожать. Я отдала ей свой платок.

— Не надо.

— Надевай.

— А ты?

— Не спорь.

Она послушалась. Миша шёл молча. Его счёт закончился где-то после полудня. Это меня тревожило.

— Почему не считаешь?

— Надоело.

— Считай.

— Зачем?

— Просто.

— Не хочу.

— Миша.

Он остановил на мне взгляд.

— Я хлеб потерял.

Я сначала не поняла.

— Как потерял?

— Был.

Он полез за пазуху. Ничего.

— Может, выпал на привале?

— Не знаю.

— Ты проверял?

— Проверял.

— Когда?

— Давно.

У него задрожали губы. Не от холода. Я впервые увидела, что он сейчас заплачет. Но он не заплакал. Стиснул зубы.

— Я дурак.

— Не говори так.

— Дурак.

— Хлеб мог выпасть у кого угодно.

— Я должен был держать.

— Ты не можешь всё время держать.

— Могу.

— Нет.

Он отвернулся. Лида сказала:

— У Ани есть.

Я резко посмотрела на неё. Миша тоже. На секунду стало очень тихо. Мне показалось, что я слышу дождь по ткани своей куртки. Лида не понимала, что сделала.

— Немного, — добавила она.

Я почувствовала хлеб под подкладкой. Последний кусок. Совсем небольшой. Если отдам половину Мише, мне почти ничего не останется. Если не отдам... Я посмотрела на него. Он ничего не просил. Это было хуже.

— На.

Я достала хлеб. Разломила. Отдала половину. Миша не взял.

— Бери.

— Не надо.

— Бери.

— Тебе самой.

— У меня есть ещё.

Это была неправда. Он посмотрел на меня.

— Врёшь.

— Какая разница?

— Большая.

— Миша.

Он всё-таки взял. Долго держал. Потом разломил свою половину ещё раз. Протянул кусочек Лиде.

— Мне не надо, — сказала она.

— Бери.

— Я утром ела.

— Все утром ели.

— Я больше.

— Бери.

Она взяла. Теперь хлеба стало ещё меньше. Мы трое шли по дороге и жевали крошечные кусочки. И почему-то после этого мне стало легче. Не сытнее. Именно легче. Наверное, потому, что хлеб снова перестал быть вещью, которую нужно охранять. Он стал просто хлебом. Его можно было съесть. Можно было разделить. Можно было потерять. И всё равно идти дальше. Ночевали мы в старой мастерской возле железнодорожной ветки. Окон почти не было. Ветер проходил через разбитые рамы. Люди сидели вплотную друг к другу. Я спрятала Лиду между собой и тётей Зиной. Миша устроился у моих ног. Кто-то неподалёку тихо говорил:

— Русские уже совсем близко.

Другой голос ответил:

— Третий день говорят.

— Я слышал артиллерию.

— Все слышали.

— Значит, скоро.

Слово «скоро» никто уже не принимал всерьёз. Оно стало таким же, как «потом». Полезным. Но ненадёжным. Я закрыла глаза. Живот болел от голода. Потом услышала шорох. Открыла глаза. Миша сидел.

— Ты чего?

— Ничего.

— Спи.

Он протянул мне что-то. Крошку хлеба. Совсем маленькую.

— Что это?

— Осталось.

— Ешь.

— Не хочу.

— Врёшь.

— Какая разница?

Он повторил мои слова. Я посмотрела на него. Потом взяла крошку. Разделила пополам. Одну вернула ему. Миша хотел спорить. Я сказала:

— Молчи.

Он улыбнулся. Мы съели. Лида во сне пошевелилась и пробормотала:

— Мама...

Я замерла. Потом она снова уснула. Я лежала и смотрела в тёмный потолок. В тот день я поняла одну вещь. Голод может отнять у человека очень многое. Силы. Терпение. Стыд. Иногда даже жалость. Но пока человек способен разломить последний кусок на две части, он ещё не потерял всё. Я не знала, сколько хлеба будет завтра. Не знала, будет ли он вообще. Но рядом дышали Лида и Миша. И мне казалось, что пока мы умеем делить хлеб, дорога ещё не победила нас.

Глава 5. Ночь в сарае

В тот вечер нас загнали в сарай, который был хуже предыдущих. Крыша протекала. Одна створка ворот не закрывалась до конца, и через щель тянуло холодом. На полу лежала старая солома, перемешанная с землёй и навозом. В дальнем углу стояла сломанная телега без одного колеса. Но люди всё равно обрадовались. Была крыша. Были стены. Не нужно было идти. После целого дня этого казалось достаточно. Мы вошли одними из последних. Свободного места почти не осталось. Люди сидели вдоль стен, лежали вплотную друг к другу, устраивались прямо у ворот. Кто-то уже спал, не снимая мокрой одежды. Тётя Зина огляделась.

Ночью сырость поднялась от пола и будто поселилась под одеждой. Солома под нами была тёплой лишь первые минуты, потом холод пробрался к спине, к плечам, к затылку. В темноте сарай казался огромным: стоило закрыть глаза, и отдельные кашли, вздохи, шорохи превращались в голоса людей, которых не видно. Я несколько раз проваливалась в короткий сон и каждый раз видела одну и ту же дорогу без конца. Во сне я шла одна, а когда оборачивалась, за мной никого не было. Просыпаясь, первым делом нащупывала рядом Лиду.

— Туда.

Возле кормушки оставалась узкая полоска пола. Мы протиснулись.

— Лида, сюда.

Она даже не ответила. Просто опустила на солому. Миша сел рядом. Я посмотрела на него.

— Ты чего такой?

— Какой?

— Белый.

— Я всегда такой.

— Нет.

Он отвернулся. Я потрогала его лоб. Горячий.

— Тётя Зина.

Она подошла.

— Что?

— Посмотрите.

Положила ладонь Мише на лоб. Потом на шею.

— Температура.

— Сильная?

— Не знаю.

Миша сразу сказал:

— У меня ничего нет.

— Конечно, — ответила тётя Зина.

— Правда.

— Ложись.

— Я не хочу.

— Тем более ложись.

— Завтра пройдёт.

Тётя Зина усмехнулась.

— Значит, завтра и встанешь.

Миша лёг. Я сняла с себя куртку и накрыла его. Он сразу попытался вернуть.

— Не надо.

— Молчи.

— Тебе холодно будет.

— Я рядом с Лидой.

— Всё равно.

— Миша.

Он замолчал. Лида уже свернулась клубком у стены. Я легла между ними. Через несколько минут поняла, что не могу согреться. Одежда была влажной после дождя. Тело дрожало само. Я подтянула колени к груди. Тётя Зина устроилась с другой стороны от Миши.

— Спи, — сказала она.

— Не хочется.

— Хочется.

— Холодно.

— Всем холодно.

Я вздохнула.

— Опять.

— Что опять?

— «Всем».

Она улыбнулась в темноте.

— Скоро сама так говорить будешь.

— Уже говорю.

— Вот видишь.

Некоторое время мы молчали. Сарай наполнялся звуками. Кашель. Стоны. Шёпот. Плач ребёнка. Кто-то звал по имени женщину. Кто-то просил воды. Вода была. Но мало. На дворе стояла бочка, и к ней выпускали по несколько человек. Когда подошла наша очередь, я взяла жестяную кружку.

— Я тоже пойду, — сказала Лида.

— Нет.

— Почему?

— Сиди здесь.

— Я не хочу одна.

— Ты не одна. Миша здесь.

Она посмотрела на него. Миша лежал с закрытыми глазами.

— Он болеет.

— Тётя Зина тоже здесь.

Лида всё равно вцепилась мне в рукав.

— Я быстро.

— Нет.

— Аня.

Я услышала в её голосе страх. Не каприз. И сразу поняла. Она боялась, что я уйду. Так же, как ушла её мать. Я присела рядом.

— Я за водой.

— Ты вернёшься?

— Конечно.

— Сразу?

— Сразу.

— Правда?

Я почувствовала, как внутри снова поднимается раздражение. Хотелось сказать: «Ну сколько можно спрашивать?» Но я сдержалась.

— Правда.

Она отпустила рукав. Я вышла. На дворе было темно. Несколько фонарей давали жёлтый свет. Охранники стояли возле ворот. Раньше они ходили вдоль людей медленно. Уверенно. Теперь было иначе. Они всё время оглядывались. Один смотрел на дорогу. Другой разговаривал с кем-то быстро и сердито. Третий курил и бросал взгляды в небо. Я заметила это. Не сразу поняла почему. Потом услышала. Гул. Далёкий. Не самолёты. Артиллерия. Он приходил издалека, почти как гром. Но гром не повторяется через одинаковые промежутки. Здесь повторялся. Раз. Пауза. Ещё раз. Я стояла возле бочки и слушала. Женщина впереди тоже подняла голову.

— Слышишь?

— Слышу.

— Близко.

Она сказала это шёпотом. Охранник резко крикнул:

— Nicht reden! (*Не разговаривать!*)

Мы замолчали. Но уже было поздно. Слово пошло по людям. Близко. Близко. Близко. В сарай я вернулась с кружкой воды. Лида сразу поднялась.

— Ты пришла.

— А куда я денусь?

Она ничего не ответила. Я дала попить Мише. Он открыл глаза.

— Не хочу.

— Пей.

— Вода тёплая.

— Другой нет.

Он сделал несколько глотков. Потом сказал:

— Слышно?

— Что?

— Стреляют.

— Слышно.

— Русские?

— Наверное.

— Значит, скоро.

Я не ответила. Слово «скоро» уже слишком много раз обманывало нас. У стены несколько мужчин тихо разговаривали. Они говорили почти беззвучно. Я слышала отдельные слова.

— ...вчера...

— ...дорога...

— ...танки...

— ...не удержат...

— ...надо ждать...

Один из них заметил, что я смотрю. Замолчал.

— Что? — спросил он.

— Ничего.

— Тогда ложись.

Я отвернулась. Но слушала дальше.

— Охрана нервная, — сказал кто-то.

— Видно.

— Боятся.

— И правильно.

— Тише.

Это было новым. Раньше я никогда не думала, что охранники могут бояться. Они кричали. Приказывали. Носили оружие. Решали, кто идёт, кто остаётся, кто получает воду. Мне казалось, что страх бывает только у нас. А теперь оказалось, что они тоже вслушиваются в далёкие выстрелы. Тоже смотрят на дорогу. Тоже не знают, что будет завтра. Почему-то это открытие изменило всё. Не сразу. Не сильно. Но изменило. Если они боятся, значит, что-то может случиться. Значит, они не вечные. Снаружи снова грохнуло. На этот раз ближе. Люди в сарае замолчали. Даже ребёнок перестал плакать. Все слушали. Потом кто-то перекрестился.

— Господи...

Грохот повторился. Миша открыл глаза.

— Аня.

— Что?

— Если русские придут, нас отпустят?

Я долго молчала.

— Наверное.

— А если не отпустят?

— Отпустят.

— Откуда знаешь?

Я посмотрела на него.

— Просто знаю.

Это была очередная ложь. Но в ту ночь мне хотелось верить в неё самой. Лида села.

— А домой сразу?

— Не сразу.

— Почему?

— Потому что далеко.

— Мы на поезде?

— Может быть.

— А если мама там?

Я почувствовала знакомую боль.

— Может быть.

— Тогда я первая выйду.

— Куда?

— К ней.

Я отвернулась. Иногда страшнее всего было не говорить о смерти. А говорить о будущем. Потому что будущее требовало надежды. А надежда тоже отнимала силы. Через некоторое время в сарае стало тихо. Люди уснули. Я не могла. Миша горел. Я то и дело трогала его лоб. Тётя Зина сказала:

— Не трогай каждые пять минут.

— А если хуже?

— Если хуже, узнаем.

— Как?

— Узнаем.

— Нечем лечить.

Она посмотрела на меня.

— Нечем.

— Тогда что делать?

— Ждать.

— Я не люблю ждать.

— Никто не любит.

— А вдруг утром он не встанет?

Тётя Зина замолчала. Я сразу поняла, что сказала лишнее.

— Встанет, — ответила она.

— Вы не знаете.

— Не знаю.

— Тогда зачем говорите?

Она посмотрела на меня устало.

— Потому что иногда человек должен слышать не то, что известно.

Я вспомнила Лиду. Её маму. Своё «догонит». Теперь стало понятнее. Мы все врали друг другу. Но не всегда из трусости. Иногда ложь была единственным, что можно было дать. Я взяла Мишу за руку. Она была горячая. Лида спала. Во сне она шевелила губами. Я наклонилась.

— Что?

Она не проснулась.

— Мама...

Потом ещё что-то. Не разобрать. Я закрыла глаза. Не знаю, сколько прошло времени. Проснулась от крика. Один мужчина стоял возле ворот.

— Врача!

Никто не отвечал.

— Есть врач?

С другого конца сарая кто-то сказал:

— Медсестра есть.

Женщина поднялась. Прошла между лежащими. Я тоже села. Возле стены лежал старик. Тот самый, который весь вечер кашлял. Женщина наклонилась к нему. Долго слушала. Потом выпрямилась.

— Всё.

Никто не спросил, что значит «всё». Мужчина рядом закрыл лицо руками. Кто-то сказал:

— Не шумите.

Мне стало страшно. Я снова посмотрела на Мишу. Потрогала его лоб. Он открыл глаза.

— Опять?

— Что?

— Трогаешь.

— Спи.

— Я не умру.

Я замерла.

— С чего ты взял?

— Я слышал.

— Что?

— Про того дедушку.

— Не говори глупости.

— Я не умру.

Он сказал это упрямо.

— Конечно нет.

— Потому что я ещё дома не был.

— Вот именно.

— И у меня там сестра.

Я впервые слышала.

— Какая?

— Маленькая.

— Сколько лет?

— Не знаю.

— Как это не знаешь?

— Она родилась, когда меня забрали.

Он сказал это так спокойно, что я сначала не поняла.

— Ты её не видел?

— Нет.

— Совсем?

— Совсем.

— Как зовут?

— Катя.

— Откуда знаешь?

— Мама говорила.

Он закрыл глаза.

— Я должен её увидеть.

Я сжала его руку.

— Увидишь.

— Правда?

— Правда.

В ту ночь мы особенно часто говорили это слово. Правда. Хотя почти ничего не знали. Под утро в сарай вошли двое охранников. Разбудили всех.

— Aufstehen! (*Встать!*)

Люди застонали. Кто-то не мог подняться. Кто-то сразу начал искать обувь. Кто-то тормозил соседа. Тётя Зина поднялась первой.

— Аня.

Я встала. Ноги не слушались. Лида открыла глаза.

— Уже?

— Уже.

Миша попытался сесть. Не смог. Я помогла.

— Я сам.

— Конечно.

Он встал. Пошатнулся.

— Видишь? — сказал.

— Что?

— Встал.

Я улыбнулась.

— Вижу.

На улице было ещё темно. Но восток немного светлел. Охранники торопили сильнее обычного. Они сами собирались быстро. Кричали друг на друга. Один затягивал ремень на ходу. Другой проверял магазин автомата. Третий оглядывал не людей. Дорогу. Я заметила. Тётя Зина тоже.

— Они спешат, — сказала я.

— Да.

— Почему?

— Потому что фронт ближе.

Мы вышли за ворота. Колонна построилась плохо. Раньше за это кричали долго. Сегодня почти не заметили. Люди шептались.

— Что-то случилось.

— Ночью машины шли.

— Их части отступают.

— Тише.

— Они боятся окружения.

Я мало понимала эти слова. Но понимала главное. Что-то менялось. Миша стоял рядом, держась за моё плечо. Лида — за руку.

— Ты сможешь? — спросила я Мишу.

— Смогу.

— Если станет плохо, скажи.

— Скажу.

Я знала, что не скажет. Колонна двинулась. Через несколь-

ко минут мы снова слышали артиллерию. Теперь отчётливо. Кто-то впереди прошептал:

— Наши.

Не знаю, откуда он знал. Может быть, не знал вовсе. Но слово подхватили.

— Наши.

— Наши близко.

— Слышишь?

Лида подняла голову.

— Аня.

— Что?

— Это за нами?

Я посмотрела на серое утро впереди. На людей. На охранников. На грязную дорогу. И ответила:

— Да.

В этот раз я очень хотела, чтобы моя ложь оказалась правдой. Мы шли дальше. Но теперь впервые за все дни дорога казалась не бесконечной. Где-то за спиной гремели орудия. Впереди неизвестно что ждало. А рядом со мной шли двое детей. Лида держала меня за руку. Миша считал шаги, иногда сбиваясь из-за температуры. Я слушала его счёт. И ещё один звук. Далёкий грохот. Он приближался. Вместе с ним приближалось что-то, чего мы ждали и одновременно боялись. Тогда я ещё не знала, что свобода тоже может прийти с таким шумом, что ребёнок сначала примет её за новую опасность.

Глава 6. Миша

Миша заболел по-настоящему на следующий день. До этого он ещё спорил, считал шаги, сердился, когда ему помогали. Теперь шёл молча. Это было хуже. Я всё время посматривала на него. Лицо у него стало белым, губы сухими. Иногда он закрывал глаза прямо на ходу, будто хотел поспать несколько секунд, не останавливаясь.

Болезнь меняла Мишу быстрее, чем дорога. Светлые волосы прилипли ко лбу, губы побледнели, и даже его привычный счёт иногда обрывался на середине числа. Я вслушивалась в паузы между его словами и боялась их больше, чем жалоб. Пока он спорил, сердился или упрямился, в нём оставался прежний Миша. Когда он закрывал глаза и переставал отвечать, мне мерещилось, что дорога уже начинает отнимать его у нас, и от этой мысли хотелось тормозить его без всякой причины — только чтобы услышать голос.

— Миша.

Он открыл глаза.

— Что?

— Не спи.

— Я не сплю.

— Спишь.

— Просто глаза болят.

— От чего?

— От света.

Света почти не было. Небо оставалось серым, низким, за-

тянутым облаками. Я промолчала. Через некоторое время он снова начал считать. Но теперь тихо.

— Один... два... три...

Дошёл до двенадцати. Замолчал.

— Дальше, — сказала я.

— Не хочу.

— Тогда я буду.

— Не надо.

— Один. Два. Три.

Он посмотрел на меня сердито.

— Я сам.

— Тогда считай.

— Четыре. Пять. Шесть...

Мы шли рядом. Лида держалась с другой стороны. Так получалось, что я была между ними. Мне это нравилось. Казалось, если я посередине, то смогу удержать обоих. Хотя на самом деле я едва удерживала себя. К полудню Миша начал спотыкаться чаще. Один раз упал на колени. Поднялся быстро, пока охранник не увидел.

— Всё хорошо, — сказал он.

Никто его не спрашивал. Через несколько шагов снова споткнулся. Я взяла его под руку. Он выдернул локоть.

— Не надо.

— Почему?

— Сам.

— Я вижу.

— Что видишь?

— Что сам.

— Тогда не держи.

Он злился не на меня. Это было понятно. Просто ему было страшно. Когда человек не может заставить тело делать то, что хочет, злость появляется раньше страха. Миша шёл, стиснув зубы. Я не трогала его. Через некоторое время он сам взял меня за рукав. Совсем чуть-чуть. Так, чтобы я не заметила. Я заметила. Но ничего не сказала. После полудня колонна остановилась возле старой дороги. Не привал. Что-то происходило впереди. Охранники переговаривались. Несколько машин проехали навстречу нам. В кузовах сидели солдаты. Они выглядели усталыми. Грязными. Некоторые спали, прислонившись друг к другу. Я смотрела на них и удивлялась. Немецкие солдаты раньше казались мне одинаковыми. Чистая форма. Ремни. Оружие. Приказ. Теперь они выглядели как обычные люди. Уставшие. Испуганные. Куда-то спешащие. Один солдат в кузове посмотрел на нашу колонну. Потом отвернулся. Миша тоже смотрел.

— Они проигрывают, — сказал он.

Я удивилась.

— Откуда знаешь?

— Видно.

— Что видно?

— Убегают.

— Может, не убегают.

— Убегают.

Он сказал это уверенно. Я впервые услышала в его голосе что-то похожее на радость.

— Значит, скоро всё.

— Не говори «скоро».

— Почему?

— Потому что все говорят.

— И что?

— И ничего.

Миша пожал плечами.

— Всё равно скоро.

Я хотела возразить. Но не стала. Пусть верит. Через несколько минут нам разрешили сесть у дороги. Миша сразу опустился на землю. Я присела рядом.

— Ложись.

— Не хочу.

— Ложись.

— Потом вставать тяжело.

Он был прав. Я уже заметила: иногда короткий отдых делал только хуже. Тело успевало понять, насколько устало. Пока идёшь, оно ещё слушается. Сядешь — и кажется, что подняться невозможно. Лида устроилась рядом. Она смотрела на Мишу.

— Ты болеешь?

— Нет.

— Болеешь.

— Нет.

— У тебя лицо болезненное.

— Какое ещё болезненное лицо?

— Такое.

— Сама ты такая.

— Аня сказала, что ты горячий.

Миша посмотрел на меня.

— Зачем сказала?

— Я ничего ей не говорила.

Лида нахмурилась.

— Говорила.

— Когда?

— Вчера.

— Значит, вчера.

Миша отвернулся.

— Всё равно не болею.

Тётя Зина подошла. Присела. Положила ладонь ему на лоб.

— Горячий.

— Все сговорились.

Она улыбнулась.

— Конечно.

— Я завтра здоровый буду.

— Хорошо.

— Совсем.

— Ещё лучше.

— И сам пойду.

— А кто тебя сейчас несёт?

Он не ответил. Мне показалось, что ему стало обидно. Тётя Зина это тоже поняла.

— Ты хорошо идёшь, Мишка.

— Я Миша.

— Хорошо, Михаил.

Он посмотрел на неё.

— Папа тоже так говорил.

— Как?

— Михаил.

Тётя Зина замолчала. Я спросила:

— А папа где?

Миша пожал плечами.

— На войне.

— Давно?

— Сначала войны.

— Письма были?

— Были.

— А потом?

Он снова пожал плечами.

— Потом нас забрали.

Это слово у всех означало разное. Забрали. Дом. Маму. Отца. Детство. Имя. Иногда всё сразу.

— А мама?

Он долго молчал. Потом сказал:

— Нас вместе везли.

Я ждала.

— Потом разделили.

— Где?

— Не знаю.

— На станции?

— Может быть.

— А почему?

Миша нахмурился.

— Не помню.

Я поняла, что он помнит. Но говорить не хочет.

— Ладно.

Он посмотрел на меня.

— Я тогда маленький был.

— Ты и сейчас маленький.

— Нет.

— Семь лет.

— Восемь.

Я удивилась.

— Ты же говорил семь.

— Скоро восемь.

— Когда?

Он задумался.

— Весной.

— Какого числа?

— Не помню.

— Как можно не помнить день рождения?

Он разозлился.

— Я помнил.

— А теперь?

— Теперь не знаю, какой день.

Я замолчала. Это была правда. Мы не знали числа. Не знали дня недели. Иногда не были уверены даже в месяце. Весна приходила не по календарю. По запаху земли. По воде в канавах. По тому, что снег становился серым. По птицам. И по тому, что идти по дороге делалось грязнее.

— Тогда сам выберешь, — сказала Лида.

Миша посмотрел на неё.

— Что выберу?

— День рождения.

— Так нельзя.

— Почему?

— Потому что он один.

— Ну и что?

— Он настоящий.

Лида задумалась.

— Тогда когда домой придём.

Миша посмотрел на неё.

— Что?

— Когда домой придём, будет день рождения.

— У всех?

— У всех.

Он впервые за день улыбнулся.

— Глупая.

— Сам глупый.

Я тоже улыбнулась.

— Хорошо придумала.

Лида сразу выпрямилась.

— Видишь?

Миша ничего не ответил. Но видно было, что мысль ему понравилась. Когда снова погнали вперёд, он даже пошёл быстрее. Недолго. Через час ему стало хуже. Я почувствовала это раньше, чем увидела. Он снова взял меня за рукав. Сильнее. Потом сказал:

— Аня.

— Что?

— Голова кружится.

Я остановилась на секунду.

— Тётя Зина.

Она обернулась. Миша вдруг согнулся. Я успела подхватить его. Колонна двигалась вокруг.

— Встань, — сказала я.

Он попытался. Не смог. Тётя Зина подошла.

— Надо поднять.

Мы взяли его с двух сторон. Он почти не держался на ногах.

— Я сам, — прошептал.

— Конечно сам, — сказала тётя Зина. — Мы просто ря-

дом.

Я запомнила эту фразу. Потом много раз говорила её другим. «Ты сам. Я просто рядом». Иногда человеку легче принять помощь, если не называть её помощью. Мы шли так минут десять. Миша приходил в себя. Потом снова пытался идти самостоятельно. Тётя Зина не отпустила сразу.

— Не надо, — сказал он.

— Сейчас.

— Я могу.

— Знаю.

Она всё равно держала его. Охранник приблизился. Крикнул. Мы ускорились. Я испугалась. Не за себя. За Мишу. Если он снова упадёт... Я не хотела додумывать.

— Иди, — сказала я.

— Иду.

— Быстрее.

— Я стараюсь.

— Сильнее старайся.

Он посмотрел на меня. В глазах была обида. Я сразу пожалела. Но было поздно.

— Прости.

Он ничего не ответил.

— Миша.

— Что?

— Прости.

— Ладно.

— Я не хотела.

— Я знаю.

Через несколько шагов он добавил:

— Ты тоже боишься.

— Чего?

— Что я упаду.

Я посмотрела на него.

— Да.

— Я не упаду.

— Хорошо.

— Обещаю.

Я не стала говорить, что некоторые обещания давать нельзя. Мы все слишком часто обещали невозможное. К вечеру добрались до маленькой деревни. Нас разместили в коровнике. Животных там уже не было. Только пустые стойла, цепи и запах сена. Миша лёг сразу. Не спорил. Это было самым тревожным. Я накрыла его курткой. Лида села рядом.

— Он умрёт?

Я резко повернулась.

— Нет.

— Тот дедушка умер.

— Миша не дедушка.

— Люди не только старые умирают.

Я не знала, откуда она это знает. Хотя знала. Оттуда же, откуда мы все. Из войны.

— Он не умрёт, — повторила я.

Лида посмотрела.

— Ты знаешь?

— Знаю.

Она долго молчала. Потом кивнула. Я снова соврала. Но теперь уже без колебаний. В коровнике нашлась женщина, которая когда-то работала фельдшером. Она посмотрела Мишу. Попросила воды. Потрогала шею, грудь.

— Простыл.

— Сильно?

— Сильно.

— Что делать?

— Греть.

— Чем?

Она оглянулась. Нечем.

— Вода есть?

— Немного.

— Давать пить.

— Лекарства?

Она посмотрела на меня.

— Где я их возьму?

Я почувствовала злость. Опять. На неё. На охрану. На дорогу. На всех взрослых. Потом поняла, что женщина не виновата.

— Он поправится?

Она задержала взгляд на моём лице. Наверное, решала, что сказать.

— Должен.

«Должен» оказалось новым словом. Не «точно». Не «может быть». Должен. Я схватилась за него.

— Слышишь? — сказала Мише. — Ты должен поправиться.

Он открыл глаза.

— Я знаю.

— Откуда?

— Мне домой надо.

— Вот и хорошо.

— Сестру увидеть.

— Катю.

Он удивился.

— Ты помнишь?

— Конечно.

— Я думал, забыла.

— Я всё помню.

Он помолчал.

— Тогда если я забуду, ты мне расскажешь.

Мне стало не по себе.

— Что?

— Про Катю.

— Почему ты забудешь?

— Не знаю.

— Не говори ерунды.

— Я просто так.

Он закрыл глаза. Через несколько минут снова открыл.

— Аня.

— Что?

— У нас дома часы были.

— Какие?

— Большие.

— На стене?

— Да.

— С кукушкой?

— Нет.

— Тогда какие?

— Просто часы.

Он помолчал.

— Они громко тикали.

— И что?

— Ночью слышно было.

— Мешали?

— Нет.

— А теперь зачем вспомнил?

— Не знаю.

Я поняла. Он боялся забыть дом. Как Лида.

— Что ещё было?

— Стол.

— Какой?

— Большой.

— Деревянный?

— Да.

— Скатерть?

— Иногда.

— Какого цвета?

— Белая.

Он говорил медленно. С паузами. Я задавала вопросы. Так же, как Лиде. Печь. Окно. Кровать. Двор. Соседская собака. Берёза возле ворот. Отец, который приходил вечером и снимал сапоги у двери. Мать, которая пела, когда стирала. Миша вдруг открыл глаза.

— Я песню не помню.

— Какую?

— Которую мама пела.

— Совсем?

— Нет.

Он испугался. По-настоящему. Сильнее, чем когда падал на дороге.

— Я забыл.

— Ничего.

— Как ничего?

— Вспомнишь.

— А если нет?

— Вспомнишь.

— Ты не знаешь.

— Знаю.

— Опять врёшь.

Я замолчала. Он смотрел на меня. Потом сказал:

— Ладно. Ври.

Я удивилась.

— Что?

— Ври.

— Зачем?

— Так лучше.

Он закрыл глаза. Мне хотелось заплакать. Но слёз не было. Наверное, они тоже уставали. Той ночью я почти не спала. Сидела рядом с Мишей. Давала воду. Поправляла куртку. Иногда он бредил. Звал маму. Потом отца. Один раз сказал:

— Катя, не трогай.

Я наклонилась.

— Что?

Он не проснулся. Утром температура немного спала. Фельдшер сказала:

— Хорошо.

Одного этого слова мне хватило. Миша проснулся сам. Посмотрел на меня.

— Я говорил.

— Что?

— Не умру.

— Ты ещё ничего не доказал.

— Встал же вчера.

— Сегодня тоже встанешь?

Он медленно сел.

— Конечно.

Я помогла ему надеть обувь. Он не сопротивлялся. Это было новым. У ворот нас построили. Миша стоял между мной и тётёй Зиной. Лида рядом.

— Считать будешь? — спросила я.

— Буду.

— До ста?

— До тысячи.

— Не собьёшься?

— Нет.

Он начал.

— Один. Два. Три...

Колонна двинулась. За деревней дорога шла вниз. Вдалеке была слышна артиллерия. Ещё ближе, чем вчера. Люди снова шептались. Русские. Фронт. Скоро. Миша считал.

— Двадцать семь. Двадцать восемь...

Потом вдруг спросил:

— Аня.

— Что?

— Если домой придём...

Он остановился.

— Ну?

— Ты со мной можешь?

— Куда?

— Домой.

Я улыбнулась.

— Зачем?

— Мама тебя накормит.

— Откуда знаешь?

— Она всех кормит.

— Даже чужих?

Он посмотрел на меня серьёзно.

— Ты не чужая.

Я ничего не ответила. Некоторые слова в двенадцать лет запоминаются сильнее, чем целые годы. Мы шли дальше. Миша снова считал. Лида цеплялась за мою руку. Впереди тянулась дорога. А я думала о доме, которого никогда не видела. О больших часах на стене. О белой скатерти. О маленькой Кате, которая где-то, может быть, жила и даже не знала, что у неё есть брат. Мне хотелось верить, что однажды Миша войдёт в ту дверь. Увидит её. Скажет: «Вот я». И тогда всё, что случилось между этими двумя дверями — домашней и той, через которую нас каждое утро выгоняли на дорогу, — останется позади. Я ещё не понимала, что человек не всегда оставляет пережитое за дверью. Иногда он несёт его с собой всю жизнь.

Глава 7. Снег

Снег пошёл ночью. Не сильный. Мелкий, сухой, почти невидимый. Утром он лежал на дороге тонким белым слоем, будто кто-то хотел прикрыть грязь. Лида обрадовалась.

Утренний снег сделал пейзаж почти красивым, и от этого было не по себе. Грязные колеи исчезли под белым слоем,

заборы и крыши стали мягче, даль растворилась в молочном воздухе. Несколько минут можно было представить, что это обычная зима и мы идём куда-нибудь из деревни в деревню. Потом снег начал набиваться в обувь, таять на тряпках и холодной водой стекать к пальцам. Красота быстро стала ещё одним испытанием. Наверное, поэтому Лидино восхищение снегом я запомнила особенно ясно: она всё ещё умела видеть то, что дорога пыталась у нас отнять.

— Смотри.

Я посмотрела.

— Что?

— Чисто.

Она сказала это так, словно произошло чудо. Я не сразу поняла. Потом увидела дорогу её глазами. Вчера она была чёрная, разбитая сапогами, колёсами, ногами. Сегодня стала белой. На несколько минут всё действительно выглядело иначе.

— Красиво, — сказала Лида.

Миша фыркнул.

— Чего красивого?

— Снег.

— Холодно будет.

— Всё равно красиво.

— Когда ноги отмёрзнут, посмотрим.

— Не говори так, — сказала я.

Миша пожал плечами.

— А что?

— Просто не говори.

Он отвернулся. После болезни он стал тише. И серьезнее. Иногда мне казалось, что ему теперь не семь и не восемь. А гораздо больше. Колонна двинулась ещё до рассвета. Под снегом дорога была скользкой. Сначала он поскрипывал под ногами. Потом начал таять. Через час снова появилась грязь. Только теперь холодная. Жидкая. Она проникала в тряпки. В обувь. Под одежду. Я чувствовала, как левый башмак постепенно наполняется водой. При каждом шаге внутри что-то хлюпало. Сначала это раздражало. Потом перестала замечать. Через несколько километров пальцы онемели. Я пошевелила ими. Почти не чувствовала. Испугалась.

— Тётя Зина.

Она обернулась.

— Что?

— Нога.

— Что нога?

— Не чувствую.

Она сразу остановилась рядом.

— Пальцами можешь двигать?

Я попробовала.

— Да.

— Тогда иди.

— А если совсем перестану?

— Скажешь.

Я посмотрела на неё.

— Опять.

— Что опять?

— Всё время «иди».

— А что ещё говорить?

Я ничего не ответила. Это была правда. У нас почти на все болезни было одно лекарство. Идти. Голоден — иди. Холодно — иди. Болит — иди. Страшно — иди. Пока можешь переставлять ноги, ты жив. Наверное, поэтому мы так боялись тех, кто садился. Лида шла хуже. Её обувь промокла насквозь. Она сначала молчала. Потом начала всхлипывать.

— Что?

— Ничего.

— Говори.

— Пальцы болят.

— На ногах?

Она кивнула.

— Сильно?

— Очень.

— Почему молчала?

— Ты сердишься, когда я жалуюсь.

Я остановилась взглядом на ней.

— Я не сержусь.

— Сердишься.

— Только иногда.

— Вот.

Мне стало стыдно.

— Хорошо. Теперь говори всегда.

— Всегда?

— Всегда.

— Даже если совсем немножко?

— Даже тогда.

Она кивнула. Через десять шагов сказала:

— Тогда у меня ещё плечо болит.

Миша засмеялся.

— И что ещё?

— И живот.

— Ещё?

— Палец на руке.

— Какой?

Лида показала.

— Этот.

— Он вообще целый.

— Всё равно болит.

Я тоже улыбнулась.

— Хорошо. Всё поняла.

Лида посмотрела довольно. Впервые за утро она перестала плакать. Иногда человеку нужно не лекарство. Нужно просто разрешение сказать, что ему больно. На первом привале тётя Зина заставила нас снять обувь. Это было ужасно. Ноги распухли. Кожа стала белой, сморщенной. У меня пятка была стёрта до крови. У Лиды пальцы покраснели. Миша

долго не хотел снимать ботинки.

— Потом не надену.

— Наденешь, — сказала тётя Зина.

— Не надену.

— Снимай.

Он подчинился. На правой ноге кожа возле большого пальца была почти синяя. Тётя Зина выругалась. Тихо.

— Что? — спросил Миша.

— Ничего.

— Я слышал.

— Значит, зачем спрашиваешь?

Она растёрла ему ступню ладонями. Миша стиснул зубы.

— Больно?

— Нет.

— Врёшь.

— Немного.

— Вот и хорошо.

— Что хорошего?

— Если болит — значит, чувствуешь.

Я запомнила. Если болит — хорошо. Тогда это казалось странным. Но на марше многие вещи становились другими. Боль иногда была хорошим признаком. Голод — тоже. Если хочешь есть, значит, ещё можешь хотеть. Хуже, когда человек переставал просить. Переставал жаловаться. Переставал говорить. После привала снег пошёл сильнее. Ветер бил в лицо. Люди наклоняли головы. Шли почти вплотную друг

к другу. Из-за снега исчезали поля. Дома вдали. Деревья. Оставались только спины впереди. Идти стало легче в одном смысле. Не было видно дороги целиком. Не было горизонта. Не было следующего поворота. Только несколько шагов. Я смотрела на спину женщины перед собой. На её серый платок. И шла. Потом женщина отстала. Передо мной оказался мужчина в длинном пальто. Потом старик. Потом снова женщина. Люди менялись. Дорога нет.

К полудню стало совсем холодно. Снег лип к одежде. Рукава затвердели. У некоторых появились на плечах белые полосы. Охранники тоже мёрзли. Один всё время ругал перчатку. Другой прятал лицо в воротник. Я смотрела на них и почему-то радовалась. Не тому, что им холодно. А тому, что холод одинаковый. Он не знал, у кого форма. У кого оружие. У кого номер. У кого нет. Снег падал на всех. Лида вдруг сказала:

— А снег немецкий?

Я посмотрела на неё.

— Что?

— Ну, здесь же Германия.

Миша фыркнул.

— Снег не немецкий.

— А какой?

— Просто снег.

— А дома такой же?

— Конечно.

Она подняла лицо. Снежинки садились на ресницы.

— Значит, он оттуда?

— Откуда?

— Из дома.

Я не знала, что ответить.

— Может быть.

— Тогда хороший.

Миша сказал:

— Он холодный.

— Всё равно хороший.

Лида протянула ладонь. Снежинки таяли на коже. Я посмотрела на неё. И вдруг вспомнила зиму дома. Не лагерь. Не барак. А настоящую. Двор. Сугробы. Деревянные санки. Мама кричит из окна:

— Нюра, домой!

Я делаю вид, что не слышу. Потом папа выходит на крыльцо.

— Анна!

Когда он называл полным именем, спорить было бесполезно. Я бежала. Щёки горели от мороза. В доме пахло картошкой. Сушилась одежда. На окне были узоры. Мне казалось, я помню это очень хорошо. Но чем дольше смотрела на снег, тем сильнее всё расплывалось. Как будто воспоминание принадлежало не мне.

— Аня.

Я вздрогнула.

— Что?

— Ты чего?

Лида смотрела на меня.

— Ничего.

— Ты плачешь?

Я провела рукой по лицу. Щека была мокрая.

— Снег.

— Он же не мокрый.

— На лице тает.

Она посмотрела с сомнением. Но спорить не стала. После обеда произошло то, чего я боялась. Одна женщина впереди начала хромать. Сначала чуть-чуть. Потом сильнее. Мужчина рядом поддерживал её. Они шли медленно. Колонна обходила. Охранник кричал. Мужчина что-то отвечал. Женщина упала. Я сразу отвела глаза. Не оглядываться. Я уже знала. Но потом услышала детский голос.

— Мама!

Мальчик лет шести бросился к ней. Мужчина схватил его.

— Стой.

— Мама!

— Не надо.

— Пусти!

Я всё-таки посмотрела. Женщина лежала в снегу. Пыталась встать. Не могла. Мальчик вырывался.

— Мама!

Она подняла голову. Посмотрела на него. Даже издалека

я увидела, как она сказала:

— Иди.

Мальчик плакал.

— Нет!

Она повторила.

— Иди.

Мужчина потащил его. Я слышала крик. Потом колонна закрыла их. Я шла. Лида держала меня за руку. Очень крепко. Через несколько минут спросила:

— Аня.

— Что?

— Если я упаду, ты тоже уйдёшь?

Я замерла. Но ноги продолжали идти.

— Нет.

— Правда?

— Правда.

— А если тебе скажут?

— Всё равно.

— А если...

— Лида.

Она замолчала. Я посмотрела на неё.

— Я тебя не оставлю.

Она кивнула. Потом спросила:

— А если ты упадёшь?

Вот на это ответа у меня не было.

— Я не упаду.

— Откуда знаешь?

— Потому что обещала.

Она как будто удовлетворилась. А я испугалась. Ещё одного обещания. К вечеру мы дошли до какого-то старого склада. Людей загнали внутрь. Там было холодно почти как на улице, но не было ветра. Это уже казалось теплом. Тётя Зина нашла кусок мешковины. Мы сели. Сняли обувь. Ноги были мокрые. Я растёрла Лиде пальцы. Она морщилась.

— Больно?

— Очень.

— Хорошо.

Она посмотрела возмущённо.

— Чего хорошего?

Я улыбнулась.

— Если болит — значит, чувствуешь.

— Кто сказал?

— Тётя Зина.

Лида посмотрела на неё.

— Вы всегда так говорите?

— Когда надо.

Миша сидел рядом. Я заметила, что он не снимает левый ботинок.

— Покажи.

— Всё нормально.

— Миша.

— Я сказал нормально.

— Покажи.

Он отвернулся. Я схватила его за ботинок. Он дёрнул ногу.

— Не трогай.

— Почему?

— Больно.

Тётя Зина сразу подошла. Ботинок пришлось стягивать очень медленно. Миша кусал губу. Нога была распухшая. На пятке огромный пузырь. Кожа местами содрана. Я испугалась.

— Он завтра не сможет идти.

Миша резко сказал:

— Смогу.

— Ты посмотри.

— Я вижу.

— Как?

— Нормально.

— Это не нормально.

— Смогу.

Тётя Зина посмотрела на него.

— Придётся.

Я повернулась к ней.

— Как?

— Обмотаем.

— И всё?

— А что ещё?

Я снова почувствовала злость. Это «что ещё» преследовало меня. Что делать с температурой? Нечем. Что делать с раной? Обмотать. Что делать с голодом? Терпеть. Что делать со страхом? Идти. Я сказала:

— Так нельзя.

Тётя Зина устало ответила:

— Знаю.

И вдруг я поняла. Она не защищает этот мир. Не говорит, что всё правильно. Она просто пытается провести нас через него. Это было другое. Мы нашли полосы ткани. Оторвали от старой рубахи, которая лежала в углу. Тётя Зина обмотала Мише ногу. Плотно. Но не слишком.

— Попробуй.

Он встал. Сразу сел.

— Больно?

— Немного.

— Врёшь.

— Ладно. Сильно.

— Завтра будет легче.

— Откуда знаете?

— Не знаю.

Миша посмотрел на меня.

— Видишь?

— Что?

— Она тоже врёт.

Тётя Зина улыбнулась.

— Все врут.

— Хорошо, — сказал он.

— Что хорошего?

— Аня тоже.

Я толкнула его плечом. Слегка. Он улыбнулся. В ту ночь мы лежали тесно. Лида прижалась ко мне с одной стороны. Миша — с другой. Я согревала их ногами. Они меня. Снаружи продолжал идти снег. Через щели в досках иногда залетали снежинки. Одна упала мне на руку. Я смотрела, как она тает. И думала о доме. О том, что снег там, наверное, тоже лежит. На крыше. На крыльце. На дороге. Может быть, мама открывает дверь. Может быть, смотрит на улицу. Может быть, думает обо мне. Я вдруг поняла, что совсем не помню её голос. Лицо — помню. Руки — помню. Как она поправляла волосы — помню. Как складывала полотенца — помню. А голос исчез. Я испугалась. Закрыла глаза. Попыталась услышать. «Нюра, домой». Ничего. Только мои собственные слова внутри головы. Я села. Лида проснулась.

— Что?

— Ничего.

— Тебе плохо?

— Нет.

— Тогда ложись.

Я не легла. Мне нужно было вспомнить. Хотя бы одно слово. Как мама говорила «Анна». Как звала к столу. Как сердилась. Как смеялась. Я напрягалась. Не получалось. И тут

вспомнила не голос. Песню. Совсем тихую. Она пела, когда штопала бельё. Слова я тоже не помнила. Только мелодию. Я начала напевать. Еле слышно. Лида подняла голову.

— Что это?

— Песня.

— Какая?

— Мамина.

— Спой.

— Я слов не помню.

— Тогда без слов.

Я продолжила. Через несколько минут Лида снова уснула. Миша тоже слушал. Я думала, что спит. Потом он прошептал:

— Я тоже вспомнил.

— Что?

— Как мама пела.

— Какую песню?

— Не знаю.

— Спой.

— Не умею.

— Тогда просто помни.

Он кивнул. Так мы лежали в холодном складе. Двое детей вспоминали песни своих матерей. Снаружи шёл снег. Где-то далеко гремела война. А между нами были только дыхание, старое одеяло, мокрая одежда и то, что мы боялись забыть. Утром снег прекратился. Мир снова был белый. Красивый.

Почти спокойный. Миша встал. Поморщился.

— Можешь?

— Могу.

Лида тоже поднялась. Я надела свой мокрый башмак. Пальцы сразу заболели. И вспомнила: если болит — хорошо. Мы вышли. Колонна снова двинулась. Я посмотрела на снег. Он лежал на полях до самого горизонта. Такой же, как дома. Лида будто прочитала мои мысли.

— Видишь?

— Что?

— Я же говорила.

— Что?

— Снег не немецкий.

Я улыбнулась.

— Не немецкий.

— Он просто снег.

— Просто снег.

Мы пошли дальше. И долго ещё белая дорога уходила вперёд. Следы людей появлялись на ней один за другим. Потом их заметало. Мне тогда казалось, что всё можно замести. Шаги. Падения. Кровь. Следы колёс. Даже человеческую память. Я ошибалась. Снег таял. Память оставалась.

Глава 8. Не садись

На следующий день я сама захотела сесть. Не на привале. Не в сарае. Не возле стены, когда разрешали остановиться. Прямо на дороге. До этого мне казалось, что я понимаю тех,

кто падал. Оказывается, не понимала. Пока однажды ноги не перестали быть ногами. Утром всё было как обычно. Нас подняли затемно. Кто-то кашлял, кто-то искал обувь, кто-то не мог разогнуть спину после ночи на холодном полу. Миша долго затягивал тряпку вокруг больной ноги. Лида стояла рядом и ждала, когда я помогу ей поправить платок. Я сама чувствовала себя терпимо. Болела пятка. Ныли колени. Спина после сна на досках была деревянной. Но всё это уже казалось обычным. Я даже подумала, что сегодня будет легче. Иногда самые тяжёлые дни начинаются именно так. Без предупреждения. Мы вышли на дорогу. Снег за ночь подмёрз. В колеях стояла тонкая корка льда. Под ней была вода. Сначала идти было удобно. Земля держала. Потом выглянуло солнце. Совсем ненадолго. Но этого хватило.

В тот день усталость впервые стала почти вещественной. Она давила на плечи, висела на веках, заставляла каждый звук приходить будто издалека. Камень у дороги казался не камнем, а обещанием покоя. Я видела его всё ближе и думала только о том, как сяду, вытяну ноги и на одну минуту перестану быть старшей, сильной, нужной кому-то. Именно это желание испугало меня сильнее боли: в нём было что-то сладкое, опасное, похожее на сон, из которого можно не захотеть проснуться.

К полудню дорога снова размокла. Грязь стала густой, тяжёлой. Она налипала на обувь, и каждый шаг приходилось будто вытаскивать из земли. Колонна шла медленно. Охра-

на торопила. Люди уже почти не реагировали на крики. Мы просто шли настолько быстро, насколько могли. Ни быстрее. Ни медленнее. У дороги иногда стояли брошенные повозки. Один раз мы прошли мимо разбитого грузовика. Кабина была обгоревшая. Рядом валялось колесо. Лида долго смотрела.

— Самолёт?

— Может быть.

— А люди?

— Не знаю.

Она уже реже задавала такие вопросы. Наверное, поняла, что мой ответ почти всегда одинаковый. Не знаю. Миша снова считал. После болезни он начал считать не до ста, а до пятидесяти. Говорил, что так удобнее.

— Сорок восемь. Сорок девять. Пятьдесят.

Замолкал. Потом:

— Один. Два. Три...

Я шла и слушала. Иногда считала вместе с ним про себя. У Лиды появилась своя игра. Она выбирала что-нибудь впереди. Дерево. Дом. Столб. Поворот. И спрашивала:

— До туда?

Я отвечала:

— До туда.

Мы доходили. Она сразу выбирала следующее. Так она научилась обманывать дорогу. Я научила её. Но в тот день наши маленькие расстояния перестали помогать. Сначала за-

болела спина. Не резко. Просто появилась тяжесть. Потом заболела шея. Хотелось опустить голову и больше не поднимать. Потом я почувствовала странную пустоту внутри. Не голод. Голод я уже знала. Это было другое. Будто из тела вынули всё, что заставляло его двигаться. Я перестала слушать Мишин счёт. Перестала смотреть на деревья. На снег. На людей. Видела только землю перед ногами. Левый башмак. Правый. Левый. Правый. В какой-то момент я поняла, что отстала от тёти Зины. Она шла впереди. Недалеко. Но между нами уже были другие люди. Я хотела окликнуть. Не стала. На это тоже требовались силы. Лида держала меня за руку. Миша шёл с другой стороны.

— Аня.

Я слышала не сразу.

— Что?

— Ты медленно.

— Иди.

— А ты?

— Я иду.

— Нет.

— Иду же.

Я разозлилась.

— Не приставай.

Лида замолчала. Через несколько минут я почувствовала её пальцы на рукаве. Они держались осторожно. Как будто она боялась мне мешать. Стало ещё хуже. Я вдруг подума-

ла: «Только бы она отпустила». Мысль была страшная. Мне хотелось идти одной. Никого не держать. Ни за кого не отвечать. Не слушать вопросы. Не смотреть, может ли Миша наступать на больную ногу. Не проверять, не замёрзли ли у Лиды пальцы. Просто идти. Или не идти. Я посмотрела на Лиду. Она старалась не тянуть меня. И мне стало стыдно. Но стыд тоже оказался слабее усталости.

— Лида.

— Что?

— Иди с Мишей.

Она сразу остановилась взглядом на мне.

— Зачем?

— Просто.

— Я с тобой.

— Мне неудобно.

— Я не тяну.

— Всё равно.

Она отпустила рукав. Ничего не сказала. Миша посмотрел на меня. Я отвернулась. Через несколько шагов стало легче. Совсем чуть-чуть. Рука свободна. Никто не висит. Никого не надо подталкивать. Я даже ускорила. И почти сразу возненавидела себя за это облегчение. Колонна подошла к подъёму. Дорога шла вверх между двумя полями. Невысокий холм. В другой жизни я бы даже не заметила. Здесь он показался горой. Люди замедлились. Кто-то начал тяжело дышать. Впереди женщина попросила:

— Не толкайте.

Ей ответили:

— Никто не толкает.

Все просто шли слишком близко. Я сделала несколько шагов вверх. Потом ещё. Сердце колотилось. В глазах начало темнеть. Я остановилась. Всего на секунду. Человек позади сразу наткнулся на меня.

— Иди.

Я пошла. Ещё шаг. Ещё. Дорога качнулась. Сначала я подумала, что поскользнулась. Но земля не двигалась. Это двигалось всё вокруг. Люди. Небо. Поля. Я протянула руку и схватилась за чьё-то плечо. Мужчина обернулся.

— Что?

— Ничего.

Он посмотрел мне в лицо.

— Девочка, ты чего?

— Ничего.

— Держись.

Он подставил локоть. Я ухватилась. Прошла с ним метров двадцать. Потом отпустила. Мне было неудобно. Я всё ещё думала, что должна справляться сама. Через несколько минут увидела у дороги большой камень. Плоский. На нём почти не было снега. И вдруг всё внутри меня решило: сяду. Только на минуту. Совсем ненадолго. Посижу. Потом встану. Я свернула к краю дороги. Сначала никто не заметил. Колонна шла. До камня оставалось два шага. Я уже представ-

ляла, как сяду. Как перестанут болеть ноги. Как не нужно будет никуда двигаться. Это желание оказалось сильнее голода. Сильнее страха. Сильнее всего.

— Аня!

Я обернулась. Лида. Она стояла посреди дороги. Миша тянул её за руку.

— Иди! — кричал он.

Она вырывалась.

— Аня!

Я махнула рукой.

— Идите.

Лида перестала вырываться. Посмотрела на меня.

— Ты куда?

— Сяду.

Даже сказать это было приятно. Сяду. Одно короткое слово.

— Нельзя.

— Можно.

— Ты сама говорила.

— Я чуть-чуть.

Она подошла.

— Нельзя.

Я почувствовала раздражение.

— Лида, иди с Мишей.

— Нет.

— Я догоню.

— Нет.

— Догоню!

Она заплакала. Не громко. Просто слёзы побежали по щекам.

— Ты меня бросаешь.

Я будто проснулась.

— Что?

— Ты обещала.

— Я не бросаю.

— Ты садишься.

— На минуту.

— А мама тоже осталась.

Эти слова ударили сильнее пощёчины. Я смотрела на неё. Она плакала.

— Лида...

— Ты тоже останешься.

— Нет.

— Останешься.

Миша стоял рядом. Он не плакал. Только смотрел. Позади крикнул охранник. Люди продолжали идти мимо. Кто-то сказал:

— Девочки, быстрее.

Я снова посмотрела на камень. Он был рядом. Можно протянуть руку. Сесть. Всего минуту. И тут появилась тётя Зина. Она пробиралась назад против потока людей.

— Аня!

Подошла и сразу схватила меня за плечо.

— Ты чего?

— Устала.

— Все устали.

— Я знаю!

Я почти закричала.

— Знаю я! Все устали! Все голодные! У всех ноги болят!

Я знаю!

Люди вокруг оборачивались. Мне было всё равно.

— Я просто посижу!

Тётя Зина посмотрела на камень. Потом на меня.

— Нет.

— Почему?

— Потому что не встанешь.

— Встану.

— Нет.

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Не знаете!

Я пыталась вырваться. Она держала.

— Отпустите.

— Не отпущу.

— Я сказала, отпустите!

— А я сказала — пойдёшь.

— Я не могу!

Вот они. Слова. Те самые. Я произнесла их. На секунду

всё вокруг будто исчезло. Я услышала собственный голос: «Я не могу». Мужчина на дороге. Старик у поля. Женщина в снегу. Все они когда-то сказали или могли сказать то же самое. Мне стало страшно. Тётя Зина тоже услышала. Она сразу перестала спорить. Наклонилась ко мне. Говорила тихо.

— Можешь.

— Нет.

— Можешь.

— Не могу.

— Тогда не иди до конца.

Я смотрела на неё.

— Что?

Она показала вперёд.

— Видишь того мужчину в коричневом пальто?

Я увидела. Шагов двадцать впереди.

— Вижу.

— Дойди до него.

— Зачем?

— Просто дойди.

— А потом?

— Потом решим.

Я хотела сказать, что это мой собственный способ. До дерева. До камня. До поворота. Теперь она возвращала его мне.

— Не хочу.

— Аня.

Она не кричала.

— Двадцать шагов.

— Я не...

— Двадцать.

Лида вытерла лицо рукавом. Миша подошёл ближе. Тётя Зина взяла меня под руку.

— Пошли.

Я сделала шаг. Ноги задрожали. Второй. Третий. На пятом захотелось снова остановиться.

— Пять, — сказал Миша.

Я посмотрела на него.

— Что?

— Шесть.

Он начал считать.

— Семь. Восемь.

Лида пошла с другой стороны. Не взяла меня за руку. Просто шла.

— Девять, — сказала она.

— Десять, — Миша.

Они считали по очереди.

— Одиннадцать.

— Двенадцать.

Я почти не слышала. Смотрела на мужчину в коричневом пальто. Он шёл медленно. Мы догоняли.

— Деятнадцать.

— Двадцать.

Тётя Зина спросила:

— Ну?

— Что?

— Сядешь?

Я оглянулась. Камень остался далеко. Совсем не далеко на самом деле. Но уже не рядом.

— Нет.

— Тогда вон до телеги.

Впереди у дороги стояла перевернутая повозка. Я вздохнула.

— Хорошо.

Мы пошли. Дошли до телеги. Потом до дерева. Потом до поворота. Не знаю, в какой момент я перестала думать о камне. Наверное, очень быстро. Тело снова вошло в ритм. Шаг. Шаг. Шаг. Боль не исчезла. Но желание сесть стало слабее. Лида снова взяла меня за руку. Я не отдёрнула. Наоборот. Сжала.

— Ты сердишься? — спросила она.

— Нет.

— Я плакала.

— Видела.

— Я думала, ты останешься.

— Я тоже так думала.

Она посмотрела на меня испуганно. Я поняла, что сказала лишнее.

— Но не осталась.

— Потому что я сказала?

Я задумалась.

— Потому что мы все сказали.

Она кивнула. Через некоторое время прошептала:

— Я тебя тоже не брошу.

Я улыбнулась.

— Не надо.

— Почему?

— Потому что тебе пять лет.

— Шесть.

— Тем более.

— А если ты упадёшь?

Я посмотрела вперёд.

— Позовёшь тётю Зину.

— А если её не будет?

— Мишу.

Миша услышал.

— Чего меня?

— Ничего.

— Опять про меня говорите.

— Иди.

— Я и иду.

Тётя Зина усмехнулась. Мы шли ещё долго. После того случая она несколько часов держалась рядом. Не спрашивала, как я. Не утешала. Просто была рядом. Иногда это лучше. К полудню нам дали короткий привал. Когда прозвучала команда остановиться, я неожиданно испугалась садить-

ся. Стояла. Тётя Зина посмотрела.

— Теперь можно.

— Не хочу.

— Садись.

— А вдруг не встану?

Она взяла кусок доски и положила на землю.

— Встанешь.

— Откуда знаете?

— Потому что я тебя подниму.

Я села. Медленно. Ноги сразу запульсировали. Боль была такой, что пришлось зажмуриться.

— Вот видишь, — сказала тётя Зина.

— Что?

— Болит.

— И что?

— Значит, живая.

— Вы всё время находите хорошее в плохом.

Она пожала плечами.

— Другого мало.

Лида села рядом. Миша устроился напротив. Мы молчали. Никто не ел. Есть было нечего. Я посмотрела на людей. Некоторые сидели. Некоторые лежали. Некоторые не снимали с плеч узлы, будто боялись, что не смогут потом поднять. Один мужчина стоял всё время привала. Я спросила:

— Почему он не садится?

Тётя Зина посмотрела.

— Боится.

— Чего?

— Того же, чего ты.

Я снова увидела камень. Белый снег возле него. Своё невероятное желание опуститься.

— А если человек сел, он обязательно не встанет?

— Нет.

— Тогда почему вы меня не пустили?

Тётя Зина долго смотрела на дорогу.

— Потому что я не знала, встанешь ты или нет.

— Но могла бы.

— Могла.

— Значит, вы зря...

Она повернулась ко мне.

— А если нет?

Я замолчала.

— Понимаешь, Аня, — сказала она, — здесь иногда нельзя проверять.

Она говорила тихо.

— Дома можно сказать: «Посмотрим». Можно полежать. Можно завтра попробовать. Можно врача позвать. Здесь второго раза может не быть.

Я смотрела на неё.

— Поэтому нельзя садиться?

— Поэтому нельзя сдаваться в тот момент, когда ещё можешь сделать один шаг.

— А если правда не можешь?

Она не ответила сразу.

— Тогда кто-нибудь должен сделать этот шаг вместе с тобой.

Я вспомнила мужчину, который подставил локоть на подъёме. Мишу, считавшего шаги. Лиду. Её слова про маму. Наверное, они и сделали за меня тот шаг. Нам приказали вставать. Я поднялась не сразу. Тётя Зина протянула руку. Я взяла.

— Видите? — сказала я. — Встала.

— Вижу.

— Сама.

Она улыбнулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.